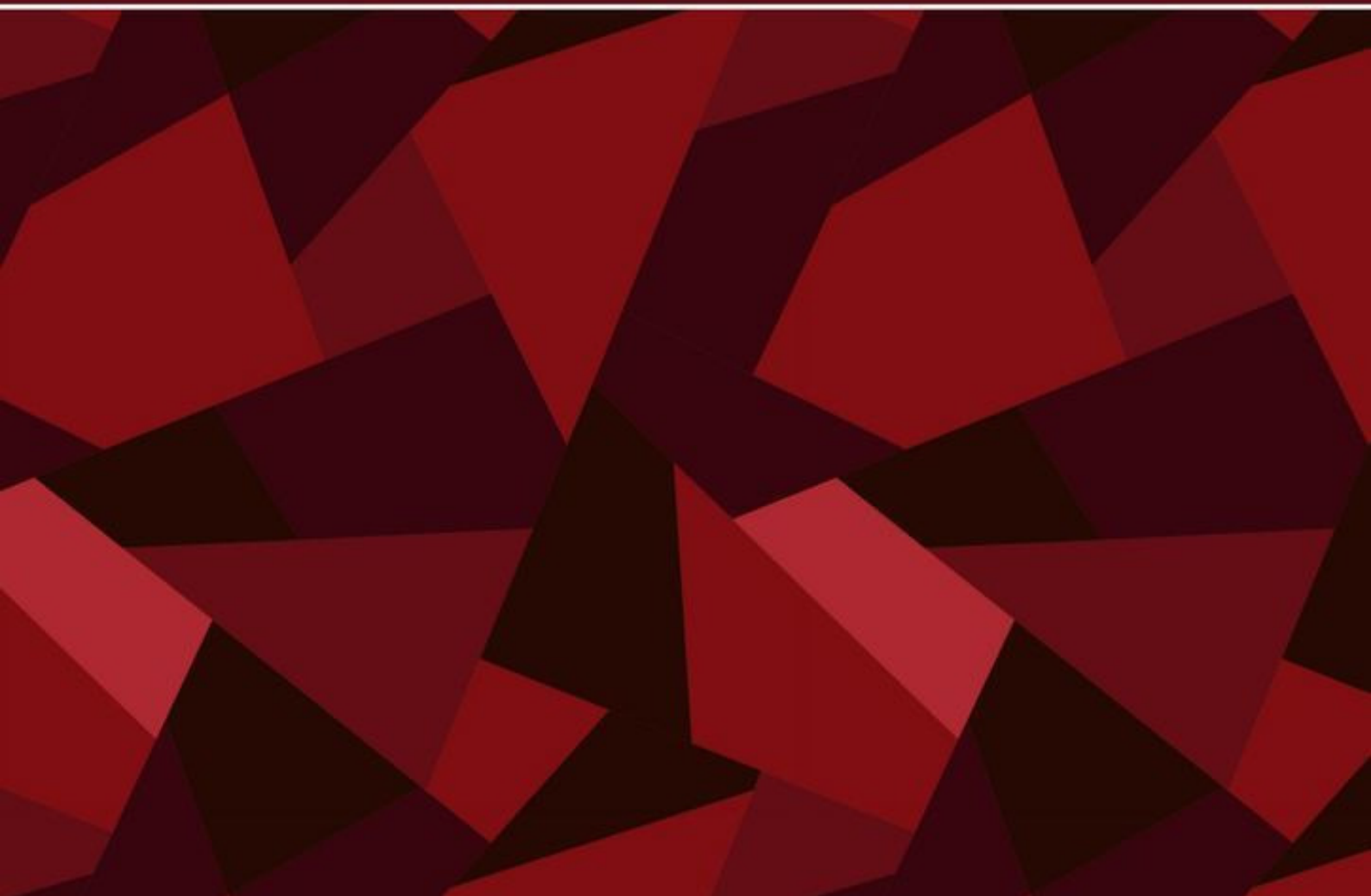


18+

Анатолий Арамисов

*Короли
умирают
последними*



Анатолий Арамисов

Короли умирают последними

«Издательские решения»

Арамисов А.

Короли умирают последними / А. Арамисов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-512763-1

Короли и пешки. Сильные и слабые. В экстремальных условиях фашистских концлагерей такое разделение людей было намного заметнее, нежели в обыденной мирной жизни. Но все одинаково хотели выжить и вернуться домой. Это удалось немногим. Шахматный турнир среди заключенных концлагеря Эбензее, организованный его комендантом, превратился в марафон смерти. Среди королей и пешек жила настоящая Королева, яростно сражавшаяся за свою честь, которая для нее была дороже жизни. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-512763-1

© Арамисов А.
© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ 1	7
Концлагерь Эбензее, февраль 1945	7
Курт Вебер	14
Концлагерь Эбензее, февраль 1945	21
Иван Соколов	28
Яков Штейман	41
Сара Штейн	52
Курт Вебер	57
Концлагерь Эбензее, март 1945	61
Сара Штейн	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Короли умирают последними

Анатолий Арамисов

© Анатолий Арамисов, 2020

ISBN 978-5-0051-2763-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Анатолий Арамисов, автор романов «Французская защита», «Гости виртуального полнолуния», «Предвестники», сборников «Вояжеры», «Гроссмейстер», «Любовиn». Данный роман написан на основе воспоминаний его деда, узника фашистских концлагерей.



Моему деду Соколову Григорию Александровичу, узнику концлагерей Маутхаузен, Заксенхаузен, Эбензее, его товарищам и всем жертвам нацизма посвящается...

ЧАСТЬ 1

Концлагерь Эбензее, февраль 1945

Черно-белая шахматная доска, стремительно увеличиваясь в размерах, сначала заслонила перед ним ненавистные горные пейзажи, потом изогнутый горизонт, и, наконец, облачное небо. Фигуры, висевшие на ней, причудливо меняли свой цвет. Черные превращались то в зеленые, то в оранжевые, то в темно-синие. Они самостоятельно прыгали-скакали по пространству доски, как будто вырвавшись из-под контроля игроков, сталкивались между собою, кружились волчком, падали, поднимались, и снова продолжали свои движения по замысловатым траекториям. Некоторые оставались неподвижно лежать, потом медленно испарялись, исчезали, и тогда пространства на этом поле битвы становилось больше.

Внезапно позиция приобрела знакомые очертания. Да, это была та самая решающая партия, очень важная, памятная, когда он мог одним легким движением кисти пожать плоды многолетней работы и стать, наконец, первым. Надо было только правильно пойти королем, не назад, а вперед! И тогда неожиданно нависшие над его обителью фигуры неприятеля не успевали перегруппироваться для решающего штурма, им мешала одна единственная слабая на вид пешечка, которая закрывала повелителя своим телом, как надежной броней.

И всё.

Он потянулся рукой к фигуре, чтобы, наконец, сделать этот верный ход, как вдруг его король внезапно рухнул вниз и стал методично биться о дерево доски острием короны, издавая отчетливый звон, словно её поверхность была не деревянная, а напоминала соединенные между собою пластинки металлофона. Звуки, что она издавала, были такие знакомые, однообразные, размеренные...

Он вздрогнул и проснулся.

Звон лагерного колокола вывел из сонного забытья тысячи людей. Они зашевелились, стали переворачиваться с боку на бок, протирать ладонями глаза и заспанные, изможденные лица. Раздались первые всхлипы, потом послышались приглушенные рыдания. Души возвращались в ужасную реальность, от которой они убегали лишь в короткие ночные часы. Очень редко им снились добрые, ласковые довоенные грезы, в которых они были счастливы, любимы, беззаботны. Именно после таких минут организм не выдерживал чудовищного контраста между сном и реальностью, реагируя совсем по-детски, беспомощно, словно взывая к состраданию, прощению, жалости...

Номер девять тысяч десятый, Яков Штейман, закрыв глаза, лежал на самом верху нар – четырехъярусного сооружения, прибитого к стене барака, и прислушивался к знакомым звукам. Босые ноги узников концлагеря «Эбензее» шлепали по бетонному полу барака все чаще и чаще. Он уже знал, в какой момент надо спрыгивать с наполненного сеном матраца вниз, на холодный пол. Не опаздывая, в нужную секунду, иначе дубинка капо опять пройдет обжигающим взрывом по его костлявой спине.

Шум босых ног усиливался.

Его привычную монотонность редкими вкраплениями нарушала негромкая людская перебранка, но она тут же стихала после гортанного выкрика старосты барака. Штейман был сильно впечатлен приснившимся, он мог поклясться чем угодно, что отчетливо видел ту самую

позицию из решающей партии турнира, где он мог одним правильным ходом завоевать заветный титул. Но, увы, в жизни всё бывает далеко не так, как нам хочется.

«Пора!» – Яков медленно приподнял тело над своей постелью, повернулся вправо, свесив ноги вниз, и спрыгнул на бетон.

Он почувствовал привычную дрожь в ногах после этого ощутимого удара; наклонился, энергично погладил руками колени, потом с замиранием сердца медленно пошел на выход.

Февральское солнце лениво поднималось из-за горизонта. Серые стены, серая земля, серое небо. Серые деревянные ботинки стояли, как всегда, длинными рядами вдоль барака. Штейман быстро нашел свои, с вырезанными сбоку инициалами «Н. Вет.», сунул в них босые ноги и ускорил шаг в направлении огромного плаца.

Утреннее построение.

Оно было самой страшной процедурой в жизни заключенных. Все знали, что кто-то сегодня обязательно попадет в «отброс». Так немцы называли категорию людей, которые, по их мнению, уже непригодны для тяжелой работы в шахтах Эбензее. Несчастных выводили из длинной шеренги доходяг, одетых в одинаковые полосатые робы. Обычно эту процедуру проводил дежурный офицер-эсэсовец. Поигрывая резиновой дубинкой, он медленно шел вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица узников.

«Du! Ты!» – тыкал он во впалую грудь очередного несчастного. Тот понуро выходил из строя, присоединяясь к небольшой группе обреченных. Иногда жертвы пытались протестовать, молить о пощаде, но всем было известно, что спустя секунды их жалобные крики прервет короткая очередь из «Шмайсера». Такие люди даже вызывали молчаливое осуждение со стороны некоторой части заключенных. Потому что их тела надо было тащить волоком на другой конец лагеря, к крематорию, а это трата драгоценных сил, которых может не хватить во время работ в штольнях.

Именно так неделю назад погиб сосед Якова по нарам, номер 9888-й, назвавшийся для всех Иваном Гавриловым. Накануне рокового дня, словно почувствовав приближение конца, он после отбоя придвинулся к Штейману и зашептал тому на ухо:

– Ты знаешь, Яша, я не тот, за кого себя выдаю...

Увидев недоуменный взгляд 9010-го, он продолжил:

– Я никакой не Гаврилов! Стеблин моя фамилия, не слышал? Вячеслав Стеблин!

Яков медленно покачал головой.

– Ах, да... ты же не из наших... Я в Крыму руководил, первый секретарь горкома Ялты, не веришь?

Его глаза с расширенными зрачками горели тем фанатичным огнем, что бывает только у глубоко верующих людей во время пасхальной молитвы.

– Да ты что? Неужели – первый секретарь? – Штейман подался вперед.

– Тихо. Да, это так. Я говорю, чтобы ты знал на всякий случай. Эх, Яша, выбраться бы нам отсюда живыми! Я только об одном Бога молю!

Перехватив недоверчивый взгляд соседа, Стеблин быстро зашептал:

– А кто нам может помочь, кроме Всевышнего? Станешь тут таким же верующим, каким был мой дед. Только бы нам дотянуть, только бы выжить! Я бы тебя, Яша взял с собой в Ялту! Ты, я вижу, очень толковый мужик. Как бы мы зажили там, в Крыму! Ты даже не представляешь, как бы мы зажили! Еще лучше, чем до войны. Как короли!

Утром следующего дня Стеблин и еще один доходяга из соседнего барака, задыхаясь, волоком тащили убитого перед строем еврея из Варшавы, грузного, неподъемного.

– Шнеллер! Быстрее! – подстегивал их автоматчик с немецкой овчаркой на поводке. Бывший первый ялтинский секретарь горкома обливался потом, до крематория было несколько сот метров, а им надо было поспеть за группой «отброса» – сгорбившимися людьми, обреченно, медленно делающими последние шаги в своей жизни. Там, перед кровожадной трубой, они сядут на скамеечки, где им сделают усыпляющие уколы. Когда их тела обмякнут, специальная группа узников по очереди затолкает несчастных в бушующий, не гаснувший ни днем, ни ночью, огонь.

Едва Стеблин с напарником стали отставать, как тут же получили по тяжелому удару прикладом между лопаток. За убитым евреем из пулевых отверстий на теле тянулись красные полосы. Собрав последние силы, они едва дотянули кровоточащее тело варшавянина до скамеек. Жадно хватая ртом воздух, на минуту остановились перевести дух.

Но вечером, в штольне, ему не хватило именно этих потраченных сил. Он рухнул на мокрую горную породу. Мучаясь от жажды, пытался слизать языком влагу с камней, но тут, на его беду, рядом оказался быкоподобный эсэсовец по кличке «Буйвол».

– Руссишь швайн!! Штейн ауф! Встать! – заревел немец и с силой ударил Стеблина дубинкой. Бывший секретарь Ялтинского горкома вздрогнул всем телом, попытался подняться, но дрожащие руки соскальзывали с камней, ноги предательски онемели. Вячеслав понял, что пришел его роковой миг, он сумел поднять голову, и хрипло выдать из себя последние слова:

– Будьте вы прокляты, сволочи, будьте вы...

Эсэсовец озверел и накинулся на военнопленного с нечеловеческой яростью. Он бил и бил уже безжизненное тело, пока кровь из разбитой головы не залила почти всю полосатую робу номера 9888-го...

«Как мы будем жить с тобой, Яша... Как в раю... как короли...»

Но нынешнее построение на плацу, а также вчерашнее и позавчерашнее, разительно отличались от привычных. На них никого не убивали, что было чрезвычайно удивительно. Два дня назад в лагерь прикатило большое начальство в лице генерала и трех полковников СС. Весь лагерь, все обитатели барачных плотных строев стояли перед деревянными корпусами, едва уместаясь на длинной центральной улице Эбензее.

Такое случалось нечасто. Люди тихо перешептывались, ожидая услышать важную новость.

Они не ошиблись.

Заключенным был представлен новый комендант лагеря, оберштурмбанфюрер СС Франц Нойман. Никто не знал, куда подевался бывший хозяин Эбензее, майор Отто Крамер, ходивший по лагерю с вечным выражением брезгливой скуки на бульдожьем лице. И как всегда в сопровождении собаки по кличке Лорд. Та была натренирована на людей и, едва завидев пса, узники старались как можно скорее исчезнуть с поля зрения лагерфюрера. Лишь несколько недель спустя до заключенных дошли слухи, что он оказался старым другом какого-то офицера, замешанного в покушении на Гитлера.

Генерал забрался на небольшое деревянное возвышение, служившее чем-то вроде трибуны, пролаял короткую речь, похвалив Ноймана за некие заслуги перед рейхом. Потом сел в черный «Мерседес» и уехал прочь.

Когда стих рокот двигателя, в лагере воцарилась напряженная тишина. Все ждали, с чего начнет свое правление «новая метла». Бывший комендант Отто Крамер начал с того, что приказал всем лечь на стылую землю в морозное утро и продержал узников в таком положении целый час. На следующее утро больше половины лагеря чихало и кашляло...

Оберштурмбанфюрер СС Франц Нойман медленно обвел взглядом все пространство, заполненное полосатыми роба́ми, и улыбнулся. Эсэсовский мундир сидел на его высокой фигуре как влитой, на ногах блестели начищенные сапоги без единой пылинки. Железный крест, значок за ранение. Светлые волосы, глубоко посаженные голубые глаза. Его облик можно было считать идеальным для образа истинного арийца, «белокурой бестии», но все портил нос. Крючковатый, с горбинкой посередине, он словно клюв орла нависал над тонкой верхней губой и узкой полоской усиков в стиле а-ля фюрер.

– Guten Morgen! – это отрывистое приветствие никогда не звучало в утренние часы перед заключенными. Шеренги от неожиданности всколыхнулись, в воздухе пронесся гул удивления.

– Охренеть! – громким шепотом произнес сосед Яши по строю, стоявший перед ним, в первой шеренге, маленький Лёня Перельман из Одессы. – Как говорила мама, я думаю, что мои уши ошибаются! Верно?

И он слегка толкнул локтем соседа. Высокий, худошавый узник, бывший учитель литературы, поэт Дима Пельцер из Харькова удивленно подтвердил:

– Невиданная галантность. Быть может, потому что фронт приближается к Германии?

– Тихо вы! – зашипел стоящий во второй шеренге бывший власовец Игнат, со странной фамилией Негуляйполе. – Щас доболтаетесь о фронте, шамальнет из «Вальтера» промеж глаз и поминай, как звали!

– Не шамальнет. По роже видно, что не из мясников... – задумчиво произнес номер 9001-й, один из самых «авторитетных» заключенных, по имени Лев Каневич. Между узниками ходили упорные слухи, что он был резидентом советской разведки в Италии. Каневич, словно подтверждая догадки, держался обособленно, высокомерно, и даже позволял себе не выходить на работу в шахте. Другого заключенного эсэсовцы за это убили бы в три секунды, однако Льва не трогали, выполняя, видимо, приказ начальства из абвера. Каневича примерно раз в две недели вызывали на допрос; иногда он возвращался избитый, но на своих ногах и в сознании.

– Вот это-то может быть и не очень хорошо... – с тревогой сказал номер 9009-й, широкоплечий мужчина по фамилии Соколов. – Что-то мне его рожа не нравится. На мясника не похож, конечно. На садиста с фантазией смахивает! – резюмировал он после паузы.

– Тихо ты, сокол! – опять зашипел Негуляйполе. – К нам идет, докаркались!

Франц Нойман медленно шел вдоль строя. Он мило улыбался, словно перед ним стояли не презренные рабы рейха, а старые друзья-однокашники, которых он давно не видел. Заключенные, остававшиеся за его спиной, облегченно вздыхали, провожая эсэсовца взглядом.

Полная тишина.

Лишь изредка коротко влаивали овчарки, нарушая скрип отполированных сапог нового хозяина Эбензее. Нойман подошел к Лёне Перельману и остановился.

Строй замер.

Комендант протянул палец в кожаной перчатке к носу одессита и негромко сказал:

– Какой выразительный иудей! Ни с кем не спутаешь...

Перельман сжался. Стоявший рядом староста блока номер девять Миша по кличке Цыган, свирепо вращая белками огромных глаз, зашипел:

– Представься господину коменданту, скотина жидовская!

– Номер девять тысяч одиннадцатый! – отрапортовал испуганный Перельман, одновременно сорвав с головы полосатую шапочку.

– Гут! – коротко бросил Нойман, и Лёня понял, что сегодня его жизнь не оборвется. Немец сделал небрежный жест перчаткой:

– Лечь!

Одессит мгновенно бухнулся на землю. Короткая радость сменилась ужасом. «Все, сейчас меня убьют» ... – Лёня закрыл глаза, приготовившись к смерти. Он лежал в пыли, не видя, что комендант совершенно потерял к нему интерес. И эсэсовец в упор смотрит на Якова Штеймана, по-прежнему улыбаясь.

Охранники придвинулись поближе, думая, что комендант выбрал первую жертву. Ариец вонзил остекленевшие глаза в переносицу Якова, словно кобра перед броском на добычу. Сердце заключенного билось с немислимой силой, кончики пальцев онемели, но Штейман упорно не опускал голову, его взгляд был тверд и ясен.

– Повернись! – приказал эсэсовец.

– Налево кругом! – дублировал команду староста.

Яков, стукнув каблуками, выполнил поворот. И тут случилось неожиданное. Франц Нойман засмеялся, радостно и счастливо.

– Ком! Иди! – поманил заключенного пальцем. – Я тебя знаю. Но забыл... Как твое имя?

– Шаг вперед, представься! – зашипел Миша-цыган.

– Заключенный номер девять тысяч десятый! – произнес узник.

– Найн! Нет! – чуть поморщился Франц. – Дайне наме? Твое имя?

– Николай Ветров... – прошептал Яков.

– Гут! Зер гут! – радостно оскалился эсэсовец. – Ты есть шахшпицер? Шахматист? Да? Громче!

– Да... – произнес Яков, и холодок недоброго предчувствия кольнул где-то рядом с бешено бьющимся сердцем.

– О! О! Какая встреча! – не переставал улыбаться комендант. – Я видел тебя на турнире в Баден-Бадене! За два года до войны. Зер гут! Какой неожиданный сюрприз, маэстро!

Эсэсовец наклонился к самому уху шахматиста и тихо прошептал:

– Но там, помнится, ты играл совсем под другой фамилией! Я её хорошо помню. Пусть здесь это будет нашей маленькой тайной, хорошо?

Штейман молчал, ошеломленный, чувствуя на себе сотни взглядов со всех сторон.

Новый комендант дружески похлопал его по плечу:

– Ты не есть бояться! – на ломаном русском произнес Нойман. – Ты есть радоваться! Я люблю и ценю таких людей!

Немец повернул голову к своей свите и, смеясь, объяснил:

– Этот номер девять тысяч десятый очень хорошо играет в шахматы! В игру, которой я увлекаюсь с детства. Я знаю его по состязанию 37-года. Там, в главном турнире больше половины игроков были евреями. Почему они испытывают такую тягу к шахматам? Я часто задавал себе этот вопрос.

– Потому что не хотят работать физически, это болезнь всей их нации, господин оберштурмбанфюрер! – отрапортовал один из приближенных Ноймана, Курт Вебер, гауптштурмфюрер СС, и презрительно посмотрел на Штеймана.

– Нет, тут не всё так просто... – чуть задумчиво произнес Франц. – Меня давно интересует этот феномен. Ведь именно жида Стейниц и Ласкер были первыми чемпионами мира. Впрочем, мы об этом поговорим позже. Гауптштурмфюрер!

– Слушаю, господин оберштурмбанфюрер! – вытянулся в струнку Вебер.

– Проследите, чтобы этот девять тысяч десятый не сдох на работе! Поставьте его на другую, более легкую. Он мне еще пригодится... – таким туманным предложением закончил приказ Нойман.

– Яволь, герр комендант! Так точно! – щелкнул каблуками гауптштурмфюрер.

– Всё! Разводите лагерь на завтрак, потом на работу! – бросил на ходу эсэсовец, направляясь в сторону административного здания. Затем остановился, словно о чем-то раздумав. Повернулся к Веберу и произнес:

– Капо девятого барака остаться здесь с этими двумя... – эсэсовец показал перчаткой на Штеймана и Каневича. – Вебер, идемте со мной!

Две черные фигуры, провожаемые тысячами взглядом, удалялись.

Строй облегченно выдохнул. Смерть, жадным коршуном витавшая над фигурами в полосатых робах, в это утро осталась ни с чем.

После утреннего развода из личного состава барака номер девять на плацу одиноко маячили три фигуры. Староста Мишка-цыган, Лев Каневич и Яков Штейман ждали особого распоряжения оберштурмбанфюрера Франца Ноймана. Они переминались с ноги на ногу, ежились, дышали на покрасневшие кисти с негнушимися пальцами; до весны 45-го оставалось несколько дней, на равнине уже зеленела свежая трава, но в горах легкий морозец всё еще давал о себе знать.

– Дай закурить... – попросил Каневич у капо.

– Пошел в задницу, король хренов! – раздраженно ответил цыган. – Ты уже и так должен мне три папиросы!

Кличка «Король» быстро прикрепилась к Каневичу после того, как однажды он наотрез отказался идти в шахту, и к изумлению заключенных новенького под номером 9001 не расстреляли перед строем, не повесили потом на неделю вниз головой для острастки. Бульдोजья морда майора Отто Крамера излучала великое сожаление по этому поводу; он лишь ограничился зуботычиной, после которой Лев едва не упал (сзади поддержали товарищи по бараку) и злобно прошипел:

– Жидовская мразь, если бы не эти идиоты из абвера... я б тебя...

И он, с трудом оторвав левой рукой свою правую кисть, уже лежащую на кобуре парабеллума, быстрым шагом покинул плац.

– Не жмись, Мишель! – на французский манер назвал цыгана Каневич. – Свои люди, потом сочтемся!

– Какие «свои»? – презрительно протянул староста. – Это краснопузые комиссары тебе свои! Ты ноги тут протянешь очень скоро, а мне папиросы еще пригодятся!

Представитель цыганского племени был фактурной личностью. Высокий, под метр девяносто ростом, он ходил прямо, важно выпятив грудь вперед. Черные курчавые волосы, такого же цвета глаза, бородка, жилистые руки, непропорционально длинные, едва не доходившие до колен. Но самым большим отличием его от остальных узников было выражение глаз, постоянно свирепых, как будто с признаками сумасшествия. Поэтому немцы сразу заприщипали этого арестанта и дали ему власть над заключенными, назначив сначала помощником капо барака №6 – блокэльтестером, а спустя месяц – главным в девятом блоке.

Капо не понимал, почему Каневич до сих пор жив, нюхом чувствовал, что не просто так и поэтому побаивался наглого арестанта.

– Смотри, как бы твои арийцы тебя здесь не пришили раньше! – насмешливо ответил «Король». – Ты как будто забываешь, что фронт катится с Востока на Запад, а не наоборот!

– Это еще посмотрим, кто кого! – злобно огрызнулся Миша. – Фюрер обещал новое оружие!

– Которое, случаем, не здесь будет производиться? – Каневич кивнул головой на огромную гору рядом с лагерем. Цыган испуганно оглянулся.

– Мое дело маленькое, я не знаю, где и что будет производиться. Я должен поддерживать порядок в бараке, остальное меня не касается!

– Еще как коснется при случае... – напустил туману Каневич. – На тебе, говорят, почти полсотни жизней висит. Так?

Глаза цыгана округлились, белки засверкали звериной ненавистью. Он открыл рот, чтобы ответить номеру 9001-му, как стоявший рядом Штейман тронул старосту за рукав.
– Тихо... Вебер идет.

Курт Вебер

Гауптштурмфюрер СС Курт Вебер не стал примерным немцем, правильным «бюргером». Его отец, трудившийся всю жизнь на угольных шахтах близ Дортмунда, являлся предметом скрытых насмешек подрастающего юнца. Скопив денег, Герхард Вебер, перевез семью в Берлин. Там он устроился в кампанию, разрабатывающую подземные тоннели столичного метро. Курт ни за что не хотел продолжать шахтерскую династию, на чем настаивал «фатер», а грезил военной и политической карьерой. Когда партия Адольфа Гитлера пришла к власти, младший Вебер тут же вступил в неё, несмотря на протесты отца.

– Дался тебе этот австрияк! – недовольно бурчал Вебер – старший. – Болтун еще тот! Чувствую, доведет он наш фатерланд до беды...

– Вы ничего не понимаете в политике, папаша! – с раздражением восклицал Курт. – Фюрер великий человек! И скоро мы отомстим за унижения Версальского мира! Германия возродится из пепла!

– Ну, посмотрим, посмотрим... – кряхтел отец, отмывая под краном вьезшую в кожу грязь. – Пока не чувствуется подъема экономики, о чем кричал твой кумир.

Курт зло прищуривал глаза, встряхивая головой, порывисто откидывал со лба свисающую челку «а-ля фюрер» и цедил сквозь зубы:

– Вы бы, папаша, попридержали язык. Ваши игры в профсоюзы на шахте, а также сочувственные взгляды в сторону коммунистов могут плохо закончиться! Я помню, как вы восхваляли Розу Люксембург, эту идиотку!

– Ты мне угрожаешь? – удивленно поднял брови шахтер. – До чего я докатился... и это – мой сын? Да я тебя сейчас!

– Не надо, Герхард... – кисть жены, Эммы, мягко легла на задрожавшую руку горняка. – Курт молод, горяч... Это пройдет.

– Не пройдет, моя милая мамочка! – сверкнул глазами член национал-социалистической партии Германии. – Мы вышвырнем из страны всех этих недочеловеков – жидов, цыган, славян! И тогда наш фатерланд расцветёт, как горный эдельвейс!

– Откуда ты только таких речей и мыслей набрался, сынок? – горестно вздохнула мать. – Ты же в детстве был таким добрым, ласковым мальчиком. Помнишь, как целыми днями бегал с сачком, ловил бабочек? Вместе с Сарой Штейн, нашей соседкой? И мне даже признавался, что влюблён в неё. Не обращая внимания, что она еврейка. А теперь? Откуда в тебе всё это?

– Читайте, муттер, «Майн кампф», и всё тогда поймете! – ледяным тоном парировал Курт. – Там фюрер прекрасно объяснил – что к чему! И перестаньте напоминать мне о детстве! Я уже вырос и скоро стану полностью самостоятелен!

– И чем же ты займешься, сынок? – спросил Герхард Вебер.

– Я добровольцем вступаю в армию фюрера! – вскинул голову Курт. – Чувствую, меня с нетерпением ждут великие свершения!

Отец с расстроенным видом покачал головой. Эмма хотела что-то сказать, как в дверь вдруг постучали.

– Кто там? – спросил старший Вебер.

– Можно? – произнес девичий голос.

– Да, входите, Сара... – с улыбкой ответила мать Курта. – Мы как раз собираемся ужинать.

Дверь отворилась, и в прихожую трехкомнатной квартиры Веберов впорхнула невысокая, черноволосая девушка. Жесткие кудри тёмным водопадом рассыпались по её плечам, заканчиваясь милыми завитушками чуть ниже лопаток. Она была одета просто, но, как говорится,

со вкусом и модно – темная юбка в едва заметную полоску, стильный жакет, в тон ему туфельки с пряжкой, голову украшала игривая шляпка.

Щеки Сары играли тем веселым румянцем, что свойственен только молодости, большие карие глаза искрились застенчивой улыбкой.

Курт демонстративно отвернулся к окну. Сара бросила на него мимолетный взгляд и выпалила:

– А я пришла с вами проститься!

– Что такое? – вскинул голову старший Вебер. – Что значит проститься?

– Поступила в Кёльнский университет! – с гордостью сообщила девушка. – И вот завтра уезжаю... – она снова посмотрела на Курта.

Тот не реагировал.

– Какая ты молодец! Поздравляю! Как родители твои? Наверное, рады! – Эмма с улыбкой любовалась соседкой. – На каком факультете будешь учиться?

– Философия. Мы с Куртом как-то поспорили, может ли девушка понимать мышление таких людей, как Эммануил Кант? Он категорически утверждал, что – нет. И вот, как будто по его заказу мне довелось раскрывать на экзамене именно эту тему. Ты проиграл спор, Курт!

Великовозрастный шалопай резко повернулся в сторону еврейки. Его лицо пошло красными пятнами, глаза потемнели и засверкали раздраженными угольками.

– Ты не можешь понимать мужской философии! Настоящей философии, я имею в виду!

– Какой настоящей? – улыбнулась Сара. – Неужели Кант для тебя не авторитет?

– Конечно, нет! – презрительно процедил Курт.

– А кто же теперь твой кумир?

– Да хотя бы Ницше! Но настоящий гений философии, и не только – наш фюрер!

– Вот как? – соседка иронично улыбнулась. – Адольф Гитлер, насколько я знаю, ничего близкого к философским трактатам Канта не написал.

– Это с твоей женской точки зрения не написал! И с вашей... еврейской... Вам бы только своих пустобрехов читать – Маркса, Каутского, Люксембург!

Щеки Сары вспыхнули.

Внезапно раздался грохот. Это побагровевший Герхард Вебер со всего маху врезал шахтерским кулаком по деревянному столу.

– Хватит, Курт! Перестань!! Твоей политикой я сыт по горло! И делением людей на расы тоже!! Как ты можешь такое говорить этой милой девочке! Она выросла у нас на глазах вместе с тобой! Сара была умницей в детстве, и ею же осталась. А ты очень сильно изменился, и не в лучшую сторону, сынок!

Курт побледнел от злости.

– Ну, тогда запишите её себе в дочери, мой добрый фатер! Породнитесь с жидами, вот будет счастливая семейка! Золотишком вместе будете торговать в магазинчике Штейнов! Или в ростовщики подадитесь! Сосать кровь у нашего народа, у истинных немцев!

– Идиот! – закричал Герхард. – Пошел с глаз моих, наци безмозглый!

– И пойду! А вы оставайтесь ужинать с ней, только подавай, маман, кошерное на стол!

С этими словами Курт рванулся к двери, будто специально задев плечом девушку; та вздрогнула, как от удара током, отшатнулась. Младший Вебер сорвал с вешалки пиджак, закинул его на плечо и через секунду с грохотом затворил за собой входную дверь.

Отец горестно обхватил крупными пальцами сидящую голову и уставился в стол. Эмма подошла к ошеломленной соседке, ласково обняла её за плечи.

– Прости его, Сара. Он в последнее время как будто сошел с ума. Бредит идеями полумного австрийца. Я знаю, что он тебе давно нравится... и ты такая замечательная. Я о лучшей

невестке и не могу мечтать, но сейчас... сейчас Курт невменяем. Надо пережить это время, он образумится, я очень надеюсь!

В глазах девушки мелькнули слезы. Она сделала шаг назад и тихо сказала:

– Вряд ли... Я хотела перед расставанием увидеть его, поговорить по душам, как когда-то. Теперь мы, наверное, долго не встретимся.

Она ошиблась.

Курт Вебер после стычки с отцом заявился в военный комиссариат и подал заявление о вступлении добровольцем в германскую армию. Ему шел уже двадцатый год, он был высок, строен, физически силен. В школе Курт увлекался гимнастикой, накачивал бицепсы, хорошо бегал и прыгал. Как раз начиналась всемирная Олимпиада в Берлине, и молодого Вебера вместе с другими новобранцами направили в помощь организаторам соревнований. Солдат разместили в казарме недалеко от главного стадиона, их задачей было отлавливание всяческого сброда, который мог приблизиться к богатым туристам из других стран – попрошайек цыган, проституток, карманных воров.

Курт Вебер преуспел в этих делах, выказывая недюжинное служебное рвение. Он почти до полусмерти избил двух подростков-цыганят, увидев, как те ловко облапошили тучного болельщика-американца, за что получил перед строем устную благодарность от командира роты.

Спустя всего год Курт Вебер стал сначала ефрейтором (Gefreiter), потом старшим ефрейтором (Obergefreiter), хорошо овладел навыками обращения с оружием, приемами рукопашного боя, отпустил усики «а-ля фюрер». Сослуживцы его уважали и одновременно побаивались.

О Саре он старался не думать. Она была напоминанием тайны за семью печатями, которую теперь Курт тщательно хранил в своей душе. Его детское увлечение красивой девочкой незаметно переросло во влюбленность, которая так мучила по ночам растущий юношеский организм. Он чувствовал, что тоже сильно нравится девушке, с каждым месяцем эта уверенность крепла. Сара привлекала его своим острым умом, насмешливой, но не злой иронией, веселыми подшучиваниями; нередко в спорах на философские темы она поражала оппонента своими знаниями. Но с каждой новой встречей Курта всё меньше стали волновать проблемы мирового значения, он замечал за собой, что во время таких бесед слова девушки растворяются в его сознании; их настойчиво и решительно перебивают мысли о том, какая мягкая, наверное, грудь у соседки, и как волнующе привлекательны ее точеные ножки...

Они поцеловались в первый раз, когда обоим исполнилось шестнадцать. Испуганно, взволнованно, торопливо. Молодые люди были одни, Герхард и Эмма Веберы уехали отдыхать на воды в Карлсбад. Сара, вся пунцовая от стыда, резким движением сбросила со своей груди руку юноши, и быстро выбежала из комнаты Курта. Она проскользнула по коридору второго этажа, мимо дверей квартиры родителей и пулей вылетела на Фридрихштрассе. Девушка долго ходила по вечернему Берлину, пытаясь успокоиться, взять себя в руки. Родители, строго соблюдавшие еврейские традиции, вряд ли одобрили её выбор.

Спустя месяц она снова не устояла перед пылающим страстью соседом. На этот раз поцелуи едва не закончились постелью, но девушке хватило благоразумия, чтобы остановиться в самый последний момент. Курт признался ей в любви, осыпал поцелуями лицо, руки, шею, колени.

– Нет... это невозможно... нет... – шептала девушка, отстраняясь от рук Вебера. – Мои родители... они такие религиозные... и хотят, чтобы я была только с евреем... это предрассудки, но я могу только после свадьбы, Курт!

– Какая ерунда! Мы поженимся и будем счастливы! – бормотал Курт, пытаясь снять с неё юбку.

Он изнемогал от желания, мужское достоинство, казалось, сейчас разорвет его модные брюки, тело пронизывала какая-то сладкая, неведомая истома; в эти секунды он готов был бросить весь мир к ногам Сары, чтобы только насладиться её плотью.

Однако девушка выдержала испытание.

Курт, подавленный и мрачный, долго удовлетворял сам себя, рисуя в воображении вожаемые картинки соблазнения Сары. Через неделю, не выдержав, пошел на улицу красных фонарей, и там с проституткой, за деньги, что выкрал из отцовского письменного стола, стал мужчиной. После этого он примерно раз в месяц навещался туда, утоляя желание плоти.

Но его душа принадлежала милой соседской еврейке еще целых два года. Все изменилось в 1935-м, когда Курт прочел «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. Впечатления от книги были подобны гигантскому взрыву внутри его сущности, его души. Он вновь и вновь возвращался к описанию юности нового фюрера, и, к своему удовольствию и восхищению, находил между ним и собою много общего.

С этого времени Курт начал бредить национал-социалистическими идеями. Любовь к Саре стремительно скатилась в тёмную пропасть. Он стал тщательно избегать встреч с девушкой, кривясь от мысли, что товарищи по партии и просто сверстники увидят его вместе с этой еврейкой. Курт едва сдерживал бешенство, когда папаша Штейн, выглядывая из окна своей квартиры над ювелирной лавкой, звал юношу:

– Вебер! Дорогой Курт! Почему так давно не заглядываете вечером на огонек? Сыграли бы партию в шахматы, как в старые добрые времена, под кружечку баварского пива. Поговорили бы о Бисмарке и Фридрихе Великом. А? Вы же такой умный молодой человек, просто удивительно! Ваш отец Герхард так слабо играет в сравнении с вами, юноша. Приходите! Иль вы обиделись на нас?

Курт молча проходил мимо говорливого соседа, скрипя зубами от злости.

«Ну, погоди, жид, настанет время, мы до тебя доберемся, погоди...»

И оно пришло. Это время.

В знаменитую «хрустальную ночь» 8 ноября 1938 года Курт вместе с несколькими десятками таких же, как он, боевиков партии, бил витрины магазинов, заранее помеченные шестиконечными звездами. Разгорячённые наци врвались внутрь, громили помещение, и одновременно лихорадочно хватали всё, что имело какую-то ценность. Его роте было приказано «зачистить» улицы как раз в родном районе.

Курт вначале колебался, зная, что некогда любимая Сара приехала к родителям на каникулы. Что-то похожее на чувство, преданное анафеме идеологами национал-социализма, всё еще гнездились в его душе, как будто остатки прежней любви к миниатюрной еврейке зацепили, сохранили и спрятали в самых потаенных уголках кусочки незримой материи под названием Совесть.

Перед глазами Вебера неумолимо вставали красивые губы, карие глаза Сары, он будто слышал её залиvistый смех и остроумные шутки. Штурмовик фюрера стоял перед перекрестком, с которого начиналась его родная Фридрихштрассе, и молча смотрел, как сослуживцы грабят какую-то продуктовую лавку.

– О! Французские вина! – радостно заорал друг Вебера, Карл Мюллер, из соседнего взвода, взгромоздясь сапогами на стол перед полками магазина. Он быстро откупорил увесистую бутылку, запрокинул голову, и с минуту жадно глотал красную жидкость.

– На, лови, это «Бордо» десятилетней выдержки! Очень вкусное! Смерть жидам! Они теперь поплатятся за убийство нашего барона! Хайль Гитлер! – крикнул он Курту и швырнул бутылку из окна.

Поводом для массовых беспорядков в Германии послужил смертельный выстрел еврейского студента Гершеля Гриншпана в секретаря немецкого посольства Эрнста фон Рата. 7 ноября 1938 года в Париже.

Вино быстро разгорячило и без того возбуждённого Вебера. Он вспомнил самодовольное, лоснящееся лицо папаша Штейна, его мелкие подколки, шуточки-прибауточки, которые тот часто отпускал во время их шахматных поединков (а старший Штейн обыгрывал обоих Веберов гораздо чаще, нежели они его), и тягучая, черная масса внезапно вспыхнувшей ненависти резко ударила Курту в виски.

– Зиг хайль! – проорал в ответ ефрейтор. – Ребята! Я знаю недалеко одну еврейскую лавку с золотишком! Давно пора бы взять нам то, что они высосали из нашего народа! Взвод – за мной! Бегом марш!

Топот трех десятков пар сапог сотряс мостовую Фридрихштрассе. Во многих окнах горел свет, люди не спали, с тревогой прислушиваясь к беспорядкам в соседних кварталах.

«Ближе... ближе... ближе... так, закрыли окна ставнями... ага! Почуяли близкую расплату, ерунда, не помогут вам ставни!»

– Взвод, стой! – скомандовал Курт и боевики, тяжело дыша, остановились перед ювелирной лавкой. Кто-то выкрикнул:

– Где звезда Давида? Я её не вижу! Быть может, это не магазин еврея?

– Я точно знаю, что здесь хозяйство ювелира Штейна! Ломайте!

Дом всполошился после первого же удара тяжелым ломом о железные ставни. Изнутри послышался женский плач-причитание. Курт внимательно наблюдал за знакомыми окнами на втором этаже. Папаша Штейн на миг показал свою физиономию, отпрянул назад, и спустя минуту вылетел из подъезда.

– Господа! Господа! Что же вы делаете!?! – жалобно зачестил он. – Я честный, бедный еврей, всё нажил своим трудом! Господа, перестаньте! Прекратите, я прошу вас, пожалуйста, умоляю!

Внезапно он осекся, узнав в свете ночного фонаря Курта Вебера. И без того выпуклые глаза старшего Штейна увеличились в размерах. В этот момент Карл Мюллер преодолел сопротивление ставень и, радостно взвизгнув, сокрушил ломом стекла магазина.

– Курт! Это вы?? – с надеждой в голосе вскрикнул старый ювелир. – Помогите, ради всего святого! Вы же так дружили с нашей дочерью! Сара! Сара! Спустись вниз! Прекратите, я вас умоляю!

По щекам пожилого еврея катились крупные слезы. Он подскочил к Курту, схватил его за рукав мундира и заискивающе заглянул в холодные глаза бывшего соседа. Тяжело, медленно обмяк, сполз на тротуар.

Вебер скривился, словно от зубной боли, и резко вырвал рукав из толстых потных пальцев Исайя Штейна. Он почувствовал, как на крик еврея обернулись его сослуживцы.

«Не хватало еще, чтобы этот жид сейчас стал распространяться о моей... Шайзе!* Вот и она...»

Сара, онемев, стояла на ступеньках подъезда, молча смотрела в глаза своему бывшему ухажеру.

Её разум отказывался верить тому, что она видела в эту минуту. Все происходило будто бы во сне. Нереальном сне. Страшном. Который вот вот должен кончиться, вмиг исчезнут эти озверевшие лица, разбитые стекла снова склеятся самым волшебным образом, ставни

магазина закроются на замок, отец встанет с колен перед когда-то милым юношей, который однажды признавался ей в любви и страстно целовал её тело... Но секунды, казавшиеся вечно-стью, отбивали молотом в её висках свой зловещий, неумолимый ход, а страшный сон не рассеивался, не проходил.

Сара смотрела в глаза, вроде бы знакомые, но теперь совершенно чужие, другие, холодные и безжалостные.

– Пошла прочь, сучка... – почти неслышно прошептал Курт, но она поняла каждое его слово по артикуляции губ и, закрыв лицо руками, бессильно опустилась на холодные ступени. Её едва не сшиб грузный человек, в одном исподнем вылетевший из подъезда.

– А ну стойте, мрази!! – знакомый голос сотряс улицу. – Это говорю вам я, Герхард Вебер! Отец вот этого подлеца! Стойте!

Карл Мюллер, уже запустивший свои лапы внутрь разбитой витрины и лихорадочно сгребавший в карманы женские украшения, выставленные там, испуганно обернулся.

– Это на самом деле твой фатер? – выкрикнули сразу трое товарищей Курта.

Тот, побледнев, молчал.

Герхард Вебер в два прыжка подскочил к сыну и занес над ним свой огромный кулак. Курт не зря занимался спортом; он сумел увернуться от страшного удара бывшего шахтера, и тот тяжело упал на отполированную булыжную мостовую. Кровь из ободранных рук и коленей стремительно проступила сквозь светлую ткань ночной пижамы Герхарда. На него тут же навалились трое боевиков, скрутили руки за спину, связали.

Курт брезгливо посмотрел на отца.

– Арестовать его! За сопротивление власти! – хрипло выкрикнул он. – И Штейна тоже! А потом, Мюллер, веди ребят к синагоге! Она недалеко! И сделайте так, чтобы никогда иудеи не молились там! Приказ ясен?

– Так точно, господин ефрейтор! Яснее не бывает! – на хмельном лице Карла Мюллера расплылась довольная ухмылка.

Спустя четверть часа два связанных мужских тела бросили, словно мешки с углем, в кузов грузового автомобиля со свастикой на борту. Но молодой Вебер этого уже не видел. Он быстро удалялся в сторону своей казармы. Перед глазами стояли женские лица, изуродованные страхом, с глазами полными слез. Сара, так и оставшаяся молча сидеть на ступеньках подъезда. Его мать Эмма, выбежавшая на улицу и умолявшая простить отца.

Курт прижимал левую руку к груди, где почему-то короткими вспышками пульсировала боль, встряхивал головой, чтобы прогнать наваждение, но оно не уходило, преследовало его, не отпускало.

Лишь в казарме, напившись до беспамятства, он забылся долгим черным сном, мучительно тяжелым, головокружительным, тошнотворным... Утром, проснувшись, он ощутил что-то, напоминающее угрызения совести.

«Неужели путь к величию арийской нации обязательно должен лежать через это? Наши противники безоружны и не сопротивляются. Какая-то пиррова победа... как тогда, в Чехословакии...»

Незадолго до ноябрьской ночи погромов, в сентябре 1938 года Курт с воодушевлением воспринял известие, что его часть отправляют «освобождать угнетаемое немецкое население» в Чехию. Он мечтал о воинских подвигах, рисовал в своем воображении сцены боев, где он, рискуя жизнью, первым врывается в опорный пункт противника, расстреливая врагов. Вебер проявлял огромное рвение во время учебно-тактических занятий, и особенно – боевой стрельбе. Лишь один командир роты штурмфюрер Отто Винцель мог состязаться с ним в меткости.

Вебер присутствовал в Берлинском дворце спорта во время исторической речи фюрера 26 сентября 1938 года. Курт много раз восторженно орал «Зиг хайль!!», а после слов Гитлера:

«Я предложил Бенешу (президенту Чехословакии) свои условия, и ему остается только выполнять их, тем более что он их уже принял. Мир или война – теперь это зависит только от него. Он должен принять наши условия, дать немцам свободу, или мы возьмем ее сами. Я буду первым в строю немецких солдат»... – впал в состояние эйфории.

Гордость переполняла душу молодого ефрейтора, когда их рота, громыхая металлическими набойками сапог по мостовым небольшого городка под названием Дюкс (Dux), четко печатала свою первую завоевательную поступь. Молодые девушки, немки, радостно приветствовали букетами цветов солдат и офицеров вермахта.

«Это! Только! Начало! Это! Только! Начало! Это! Только! Начало!» – синхронно с ударами каблуков звучало в голове Курта Вебера.

Чехи не оказывали сопротивления. Лишь по ночам в оккупированных городках кое-где звучали одиночные выстрелы. Патриотов-одиночек отлавливали, кого-то сразу убивали на месте, других посылали в особые места – первые лагеря, сооруженные на территории Германии.

Каждый раз Курт скрипел зубами и злился, что эти мелкие стычки происходят в стороне от него, что он не может показать все свои навыки и умения, проявить себя, как доблестный солдат рейха. Пока он отстаёт от молодого фюрера (тот принял боевое крещение в октябре 1914 года) —...» С горячей любовью в сердцах, с песнями на устах шел наш необстрелянный полк в первый бой, как на танец. Драгоценнейшая кровь лилась рекой, а зато все мы были тогда совершенно уверены, что мы отдаем нашу жизнь за дело свободы и независимости родины...» – Адольф Гитлер, «Main Kampf».

Молодой Вебер хотел убивать врагов рейха. 1 сентября 1939 года было не за горами...

* Шайзе – немецкое ругательство.

Концлагерь Эбензее, февраль 1945

В большом просторном сооружении с высокими потолками, где узникам Эбензее выдавался скудный паек, как всегда было тесно и шумно.

Двести пятьдесят грамм хлеба на день. То есть буханка хлеба на четверых. Пол-литра кофе, точнее, мутноватой жидкости, что-то вроде какао. Сморщенные капустные листья, отваренные в воде, иногда суп под названием «ватаг кара», где разваренная крупа была перемешана с кормовой брюквой. Обязательная порция табака в маленьких брикетах. Большим праздником считался день, когда из окна раздачи на весь барак выдвигали большой чан, в котором было картофельное месиво с маленькими кусочками мяса.

Немцы понимали, что иногда для особого тяжелых работ нужно подкрепить им организмы мужиков, иначе те просто физически не справятся с нагрузками.

Заклученный номер 9009 Иван Соколов неторопливо жевал тонкий кусочек хлеба, предварительно обмакнув его в кружку с кофейной бурдой. Рядом сидели его товарищи: Виктор Степовой с Краснодара, москвич Саша Маслов, Лёня Перельман, Дима Пельцер и Володя Соловьев, все с Украины. Они ждали двоих – Льва Каневича и Якова Штеймана. На стол, за которым сидели восемь человек, подавался большой чайник с кофейной жидкостью, две буханки хлеба и табак. Старший стола (а им был назначен Соколов) следил, чтобы эта скудная еда была разделена поровну. Иван доел хлеб и медленно тянул внутрь себя горячую кофейную бурду, что согревала кровь и хоть немного, но бодрила. Его пальцы левой руки небрежно играли с брикетиком табака, переворачивая гранями против часовой стрелки.

– Как всегда? – наклонился к нему Саша Маслов. – Сегодня моя очередь.

Соколов кивнул.

Москвич тяжело вздохнул и положил рядом с брикетиком половину порции своего хлеба. Три кусочка из шести. Маслов был заядлым курильщиком, в мирное время смолил две пачки в день, и здесь его организм испытывал изнурительное томление по табаку.

Иван Соколов и Яков Штейман были единственными некурящими из восьми, поэтому меняли свою порцию табака на хлеб. В среде узников это считалось честным обменом, и курильщики между собой устанавливали очередность, чтобы получить второй брикетик.

Завтрак заканчивался.

Внезапно шум в помещении столовой стих. Многие повернули голову к выходу.

– Идут! – негромко произнес Лёня Перельман. – Наконец-то, а то уж я думал – каюк им...

Между длинными рядами столов к ним быстро приближались трое: староста Мишка-цыган, Яков Штейман и Лев Каневич. На лице последнего играла задумчивая улыбка.

– Ну что? Рассказывайте! Что комендант сказал вам? Яков, не томи, говори!

Штейман сел на своё место, молча налил в кружку бурду, и, сделав маленький глоток, опустил её на стол. Первым заговорил Каневич, жадно жуя свою порцию хлеба.

– Я лично не поверил своим ушам! Думал, шутит оберштурмбанфюрер! Наверное, все же он того... с приветом. На фронте, видимо, контузило, вот и стал в тылу заниматься чудачеством.

– Да в чем дело-то!?! Долго будете загадками кормить? – с некоторым раздражением произнес Соловьев.

– Комендант, этот... как его... Не... Но...

– Нойман, – подсказал Яков.

– Да, Нойман Франц, предложил нам поискать среди народа любителей шахмат, ну, кто более менее нормально играет. Составить список.

Каневич, наконец, прожевал свой кусок.

– Зачем?? – произнесли сразу несколько голосов.

– А хрен его знает. Сказал, что с уважением относится к таким людям, как он... – Лев кивнул на Якова Штеймана. – И даже готов сделать послабления шахматистам!

– Серьёзно? – прищурил глаза Иван Соколов. – Это что-то новое. Почти четыре года в трех лагерях кантуюсь, а о таком не слыхивал. По воскресеньям в Маутхаузене иногда давали нам поиграть мячом. Но там желающих бегать было немного, и так ноги еле волочили.

– Да, действительно, очень странно... – задумчиво произнес Дима Пельцер. – Если честно, не по душе мне всё это.

– Почему? – воскликнул Лёня Перельман. – А мне так этот Нойман с первого взгляда понравился! Сразу видно – интеллигент! Не то, что бывший лагерфюрер, тот майор.

– И что дальше? – перебил его Маслов. – Ну, найдете вы шахматистов... и что?

– Не знаю, – пожал плечами Штейман. – Я тоже ничего не понимаю.

– А вам, быдлу, и понимать незачем! – встрял в разговор Мишка-цыган. – Приказ не обсуждается, а выполняется без разговоров и в срок!

Он сидел за отдельным столом, вместе с капо других барачков, рядом с восьмеркой заключенных, и под голодными взглядами жрал двойной паек; предметом зависти узников Эбензее были кубики самого настоящего сливочного масла, что клались раздатчиками между широкими краяхами хлеба.

– Так это вам сам комендант сказал? – спросил Степовой, вычищая кусочком хлеба свою миску.

– Да, пришел гауптштурмфюрер Вебер на плац, приказал идти за ним, – ответил Штейман. – Подошли к администрации, вышел Нойман и объявил... Потом добавил, что кроме выходного дня, возможно, будем играть и в будни. Только зачем?

– А я б сыграл с удовольствием вместо того, чтобы в штольне пахать! – приподнялся над столом Перельман. – Записывай меня первого! В Одессе частенько в молодости в наш шахматный клуб захаживал.

– Сам записывайся! Комендант сказал, чтобы желающие подходили к писарю. К этому чеху, что сидит в комнатке рядом с больничным блоком... как его? Вацлав зовут, по-моему.

– А ты, Яков? Что скажешь?

– Не знаю... пожал плечами Штейман. – Не понимаю, зачем это нужно оберштурмбанфюреру?

– Так он же тебе на плацу говорил, что сам играл перед войной и уважает сильных шахматистов. Быть может, хочет посмотреть, как ты шпилишь* тут? Не растерял спортивной формы в сравнении с Баден-Баденом? – язвительно бросил Мишка-цыган, допивая кофе. – Тебе первому надо бежать к писарю, пока герр комендант не передумал! А так сдохнешь в штольне через неделю, другую. Или расстреляют перед строем за отказ выполнить его приказание!

Над столом повисло тревожное молчание. Мишка громко чавкал и причмокивал, заедая бутербродом с маслом жидкую кофейную массу, что он выливал в большой красный рот. Крошки хлеба застревали в его небольшой черной бороде, коричневые капли падали вниз; цыган опускал глаза, стряхивал всё в сторону, под стол. Черные глаза Мишки обладали удивительным свойством, они все время были в движении, бегали в разные стороны, как будто старались охватить весь горизонт одновременно; скорее всего – это было выработанной привычкой постоянно следить за узниками, поэтому цыган имел еще одну кличку – «Глазастый».

Наконец, староста барака доел свою порцию, поднялся из-за стола и скомандовал:

– Встать! На выход!

Грохот отодвигаемых скамеек. Топот деревянных башмаков по каменному полу. Узники, поживаясь, медленно двинулись к широко распахнутой двери, навстречу морозному воздуху.

Внезапно раздался яростный крик:

– Ты что, сволочь? Заснул? А ну, вставай!

Все обернулись.

Лев Каневич по-прежнему сидел за столом, согнувшись в три погибели, прижав обе руки к животу. Над ним с побагровевшим лицом навис Мишка-цыган, спустя секунду правая рука капо, описав дугу, хрястнула дубинкой по деревянному столу рядом с головой номера 9001. Каневич вздрогнул, отшатнулся и скривился еще больше.

– Живот схватило... – пробормотал он. – Сейчас... сейчас...

– Ах ты, жидовская морда! Опять в лазарете хочешь отлежаться! Поднимайся, скотина! Убью!!

Дубинка старосты снова взметнулась вверх. Из замеревшей толпы к нему молнией бросилась полосатая тень; в самый последний момент заключенный успел остановить цыгана.

– Ты что... ты что? – ласково улыбаясь, проговорил коренастый мужик, сдерживая правую руку старосты. – Убьешь его, потом приедут из абвера и тебя, Миша, расстреляют. Его надо беречь, забыл, что ли?

– Уйди сокол, по-хорошему говорю! – зашипел цыган, вперив полный ненависти взгляд в лицо номеру 9009-му. – Я ему только пару раз хряпну, чтобы не притворялся больше!

– А откуда знаешь, притворяется он или нет? Ты не врач! А если помрет сегодня в штольне? Скажут, что человеку плохо утром на завтрак стало! А ты его на работу. Кто виноват? Капо виноват! Тебя потом за это по головке не погладят! – Иван Соколов старался говорить как можно убедительнее.

Мишка-цыган с минуту лихорадочно размышлял, потом резко вырвал руку с дубинкой, и, придав лицу начальственное выражение, приказал:

– Тащи эту падаль в лазарет! Потом вернешься и доложишь, что и как! Понял?

– Понял... – Иван Соколов склонился над Каневичем, взял его за подмышки и осторожно приподнял. Лев застонал.

– Что разинули рты? – заорал капо на толпу заключенных. – На выход! Сейчас у меня будете бегать вокруг! В наказание за этого жида!

Иван Соколов, поддерживая скривившегося от боли соседа по нарам, медленно вышел из столовой. Отряд девятого барака стоял в две шеренги, выслушивая ругань и наставления старосты. Мишка-цыган, увидев парочку, скомандовал:

– Равняйся! Смирна!! Напраааа —вооо!! Вокруг столовой – бегом марш!! Пока сокол не вернется, будете у меня спортсменами!

Узники повернулись и побежали унылой трусцой. Из толпы выкрикнули:

– Иван, давай побыстрее! А то придется и в штольню бежать!

Соколов чуть дернул Каневича:

– Перебирай ногами, терпи, брат!

Едва они отошли на сотню шагов и завернули за угол, как Лев выпрямился, отбросил руку Ивана.

– Да хватит тебе! Я сам дойду!

Соколов от удивления остановился, пораженный внезапной догадкой.

– Ты что? В самом деле...

Каневич зло огрызнулся:

– Не твое дело! Скажешь, что врач принял меня, положил на лечение! Только постой здесь, за углом минут десять...

– Я не могу, вдруг на эсэсовца нарвусь? Пойдем, доведу тебя до ревира.

Ревиром узники называли большой больничный барак, где лечились небезнадёжно больные, которые могли еще, оклемавшись, работать.

Перед самым входом Каневич снова скрючился, его лицо приняло настолько правдоподобно-мучительное выражение, что Соколов едва сдержался, чтобы не засмеяться. Они вошли внутрь. В помещении, едва освещаемом тусклыми лампочками, воняло разными лекарствами. 9001-й и 9009-й миновали длинный коридор и постучали в дверь с табличкой «Der Artzt KZ Ebensee» – врач концлагеря Эбензее.

Спустя пять минут Иван Соколов быстро побежал в направлении столовой, он знал, что всё это время товарищи, обливаясь потом, бегают вокруг большого барака.

Каневича оставили в ревире на лечение.

Заключенные медленно поднимались вверх по крутой лестнице, сгорбившись под тяжестью обработанных булыжников. Немцы выкладывали ими тоннель, что вёл вглубь огромной горы, нависающей над лагерем Эбензее. Булыжники доставляли узники блока номер один, забрасывая их в кузова грузовых машин; те привозили камни на площадку недалеко от лестницы. Здесь их обрабатывали бедолаги из блока номер два, выполняя тяжелейшую работу каменотесов. Когда камни принимали нужные размеры, узники третьего и четвертого барака тащили их наверх, в шахты. Этот путь сразу называли «лестницей смерти», так как именно здесь погибало большинство людей. Почему-то немцы считали этот этап наиболее легким, и ставили на него самых слабых в физическом отношении заключенных. Серые ступеньки лестницы с каждым днем всё больше изменяли свой цвет, во многих местах покрываясь темно-бурыми пятнами. Это были следы крови тех несчастных, что падали навзничь, роняя каменную глыбу с костлявых плеч. Тут же раздавалась автоматная очередь, которая порою уносила жизни стоящих рядом с упавшим; пули рикошетили от ступеней и с чмоканием впивались в тела людей.

Эсэсовцев не заботило количество рабочих. Каждую неделю прибывали грузовые вагоны, набитые будущими жертвами.

Заклученные из девятого блока, среди которых были Яков Штейман, Леня Перельман, Иван Соколов, Лев Каневич, Игнат Негуляйполе и еще около двухсот узников, работали в подземелье. В штольне номер девять. Одни вгрызались отбойными молотками в горную породу, пробивая тоннель. Другие тут же крепили шахту, третья партия рабочих выкладывала её булыжниками, что волокли бедолаги из третьего блока. Почти никто из узников Эбензее даже не догадывался, что они строят подземный завод по производству зловещих ракет «Фау-2», будущего «оружия возмездия», о котором так часто в последнее время кричал Йозеф Геббельс. Позже такие ракеты станут называть межконтинентальными баллистическими. Вслед за ними заключенные из шестого и седьмого барака прокладывали рельсы. Когда штольня номер девять углубилась в гору метров на пятьдесят, по рельсам пустили вагонетки, возившие обработанные камни.

Бывший учитель Дима Пельцер из Харькова опустил отбойный молоток на камни и, выпрямившись, вытер потный лоб рукавом полосатой робы. Нестерпимо ныли спина и кисти рук. В глазах замелькали тысячи маленьких белых светлячков, это стало для Пельцера уже привычным явлением и предвещало потерю сознания. Однажды он упал в обморок, выйдя из штольни на свежий воздух – слишком глубоко вдохнул легкими альпийский кислород после удушающей каменной пыли, что летела из-под отбойных молотков. Эсэсовцев, к счастью, рядом не было, и Дима остался жив. Земляк Вовка Соловьев быстро привел учителя в чувство, приложив к его вискам пригоршню холодного снега.

– Что, худо? – перекиривая рев инструментов, спросил Пельцера Соколов.

Тот кивнул.

– Посиди малость, перекури, пока цыгана нет! А то совсем бледный... Эй! – крикнул номер 9009-й, обращаясь к товарищам, что были ближе к выходу. – Предупредите, если появится кто!

Пельцер присел на большой камень, вытащил из кармана брикетик табака, достал кусок предусмотрительно прихваченной бумаги, спички. Свернул самокрутку. Он с наслаждением затаился, закрыл глаза. Руки дрожали, слабость и боль от них, казалось, передавались вверх, по всему телу. Табачный дым медленно начал прогонять щемящую тоску, что гнездилась где-то рядом с сердцем. Диме часто хотелось плакать, но усилием воли он сдерживался, чтобы не зарыдать. В такие минуты он вспоминал детишек из своего второго «А», которым строго внушал, что они уже большие и плакс никто в классе уважать не будет. Пельцер отчетливо помнил их лица, все до единого, он очень любил свою работу, и дети, чувствуя это, боготворили классного руководителя.

– Атаc! – хриплый выкрик, донесшийся с начала туннеля, разрушил задумчивую идиллию харьковского учителя. Он торопливо вскочил, мгновенно затоптал окурки и схватил отбойный молоток.

– Рrrrrrrrrrrрыкккк! – каменная порода медленно отступала под напором стали. Узник бросил взгляд в сторону света. Знакомая обезьянья фигура капо с неизменной палкой в правой руке маячила в нескольких метрах. Сегодня заключенные расширяли тоннель, пробитый две недели назад. Вагонетки сновали взад вперед, вывозя отработанную породу из штольни.

Цыган медленно прошелся по шпалам рельс до места, где они обрывались, внимательно следя за людьми из девятого барака. Примерно раз в два-три часа в шахту заходил немец-инженер, осматривал своды штольни, давал указания. Наведывались иногда и эсэсовцы, но ненадолго – густая пыль отпугивала их. Заключенные дышали сквозь марлевые повязки, к концу 11-часового рабочего дня они кардинально меняли цвет, превращаясь из белых в черные.

Огромная гора медленно, но верно, отступала перед людским напором, отдавая день за днем свои кубические метры. Узники давно догадались, что строят какой-то важный объект, скорее всего – подземный завод, который будет невозможно разбомбить с воздуха.

– Рrrrrrrrrrrрхххх! – камни сыплются вниз, иной раз больно задевая ноги. – Зззззззззззззыыы!

«Когда же это кончится? Господи! Когда ты прекратишь наши муки!? Опять появились белые точки... Быть может, умереть... лучше умереть и больше не испытывать никогда все это... н и к о г д а... Моя милая мама, она не переживет... белые точки, как вас много...»

Мозг Пельцера, сотрясаясь в такт звериному рыку отбойного молотка, казалось вот вот и – вылетит вниз под ноги, забрызгает эти ненавистные серые стены, руки бывшего учителя дрожали, ноги снова окутало ватным одеялом...

– Он упал! Вагонетка!! – одновременно закричали несколько узников.

Все обернулись.

Дима Пельцер лежал спиной на рельсах, из уголка его рта сочилась струйка крови. Он потерял сознание и упал навзничь, спиной, больно ударившись о стальные бруски. Но это было не самое страшное.

Слева накатывалась тяжелая вагонетка, трое узников, согнувшись, толкали её руками перед собой и не могли видеть, что на рельсах лежит человек. Вагонетка, набрав скорость, быстро приближалась к Пельцеру. Рядом с упавшим никого не было, один только Мишка-цыган стоял в трех метрах и злобно смотрел на учителя.

– Держи вагонетку!! – закричал Витька Степовой. Он бросился к ней и, схватившись за край, повис, пытаясь ногами затормозить ход. Рабочие, толкавшие её, услышав крики, отпу-

стили руки, выпрямились, но не успели быстро сообразить, что надо тормозить. Вагонетка неумолимо катилась на неподвижного Пельцера.

– Капо!! Убери его с рельс!! – заорал на бегу Иван Соколов. Он видел, что не успеет добежать до харьковчанина и сдернуть того со смертельного ложа. Витькины ноги, поднимая пыль, безнадежно болтались рядом с колесами. Цыган грязно выругался, но и не думал наклониться, чтобы спасти заключенного. Многие узники закрыли глаза, чтобы не видеть, как тяжелая махина раздавит человека.

Раздался страшный скрежет.

Как в замедленной киносъемке, вагонетка резко сбавила скорость. В полуметре от нее, с другой от Витьки стороны, стоял на коленях человек, придерживая двумя руками огромный каменный валун, лежавший на левом рельсе. Тот самый, на котором полчаса назад сидел и курил Дима Пельцер. Это было единственное правильное решение, которое могло быть принято в критический момент. Вагонетка, злобно заскрежетав, словно нехотя подчиняясь воле человека, проехала еще пару метров и застыла.

Узники сбежались.

Пельцер лежал прямо перед колесами. Витька Степовой уже поднялся и отряхивал пыль с полосатых штанов. Яков Штейман подбежал к человеку, что согнулся от боли, опустив голову и прижимая окровавленные руки к животу.

– Ваня... ты как? Ваня... ты просто спас его... какой же ты...

Цыган злобно выругался и ткнул дубинкой в бок Соколову.

– Ишь ты, уже второго доходягу сегодня спасает! Какой ты добрый, сокол! Самого чуть не задавило, дурака! Тьфу! Какие слабые всё же, эти жида!

Староста сплюнул в сторону помертвевшего лица Пельцера. Соколов резко обернулся. В его глазах было что-то такое, отчего цыган попятился назад, вполголоса бормоча угрозы:

– Но... но! Ты меня своими зенками-то не сверли! Не комиссар на допросе, чай! Я тебе, сокол, еще припомню сегодняшнее... и тебя никто не будет вот так спасать... скоты... все равно сдохнете все здесь!

Капо пятился к светлеющему выходу. Толпа узников молча пропустила его, все видели, что по рельсам быстро идет инженер Вальтер Браун в сопровождении двух эсэсовцев с овчаркой. Немец подошел, осмотрел место происшествия. Потом поднял голову и спросил:

– Кто бросил камень под колеса?

Заключенные молчали.

– Я повторяю вопрос! Кто бросил валун под вагонетку?

Эсэсовцы с интересом наблюдали за происходящим. Толпа молчала. Инженер открыл рот, чтобы спросить в третий раз, как из шеренги узников вышел человек с окровавленными руками.

– Я бросил.

– Фамилия!?

– Соколов.

Немец молча рассматривал заключенного. Потом опустил глаза на Пельцера.

– Гут! Ты есть молодец! Выручил товарища по работе! Гут! – инженер похлопал Соколова по плечу. – Этого – убрать!

Эсэсовцы двинулись к вагонетке, снимая с плеча автоматы.

– Нет! Его – в лазарет! В ревер! – добавил немец, спасая жизнь Диме Пельцеру. – А ты герой, Соколов! Как тебя звать?

– Иван... – коренастый заключенный исподлобья смотрел на инженера.

– Самое русское имя! Иван... Ваня! – воскликнул Браун. – Я бывал у вас в Москве... красивый город! Однако, фсё! Всем арбайтен! Работать! Двоим доставить этого в ревир! – палец инженера ткнул в сторону лежавшего на рельсах Пельцера.

Степовой и Маслов подняли харьковчанина, усадили в стороне, пытаясь привести в чувство. Спустя минуту тот с трудом открыл глаза, и его повели к выходу. Сделав несколько шагов, москвич Маслов обернулся:

– А ты, сокол, молоток! Теперь Пельцер и Каневич должны на тебя всю оставшуюся жизнь молиться, если выйдут из лагеря на свободу!

Иван Соколов лишь слабо улыбнулся, махнул рукой, и снова взялся за свой отбойный молоток.

* шпилишь – играешь (жаргон.)

Иван Соколов

Заклученный номер 9009-й медленно добрался до верхнего яруса деревянных нар и облегченно откинулся на набитый сеном матрац. Очередной день канул в небытие. Иван Соколов давно перестал считать недели и месяцы, проведенные в неволе. Здесь, в Эбензее, он считался одним из «старичков», «ветеранов», которые намного больше других находились в заключении. Это был его третий концлагерь. В бараке царил полумрак. Узники негромко переговаривались, устраиваясь на ночлег. Воздух еще был свежим, помещения проветривались перед приходом отрядов с ужина. Кто-то уже громко храпел, вызывая недовольство соседей. Бывали случаи, когда таких «храпунов» специально подставляли, чтобы избавиться раз и навсегда от надоедливых звуков. Но обычно дело ограничивалось увесистым пинком под бок храпящего, после чего тот приобретал стойкую привычку спать на боку.

Рядом с Соколовым беспокойно ворочался Яков Штейман. Чуть поодаль спали Маслов и Степовой. Внизу, на третьем ярусе, о чем-то шептались Негуляйполе с Лёней Перельманом. На втором ярусе спали грузин Нодар Папелишвили, поляк Яцек Славинский. В самом низу, практически на полу были постелены матрацы евреев из варшавского гетто Юлия Либмана и Марка Фишмана. Два места пустовало: Каневич и Пельцер отлеживались в ревире.

Мысли тяжело ворочались в уставшем мозгу Соколова, картинки прошедшего дня вспыхивали в его сознании, затухали, потом воображение, как всегда перед сном, уносило его в родные края. Сбитые в кровь кисти отдавали пульсирующей болью, ныли.

«Не хватало еще заражение крови подхватить. Хотя я еще в штольне помочился на руки, как учила бабка, чтобы обеззаразить. Сашка притащил из ревира немного бинтов, несвежих, правда. Может, зря я перевязал ими кисть? Черт его знает, от какого больного были эти бинты? А, хотя, чему быть – тому не миновать... Зачем лагерфюреру понадобились шахматисты? Неужели хочет прослыть гуманистом при случае? Если наши быстро докатят линию фронта до Берлина, что будет здесь? Всех уничтожат, шахты взорвут, лагерь сожгут? Не знаю. Одному Богу известно. Мои, наверное, уже меня мысленно похоронили, четвертый год пошел, как увезли немцы из дома...»

Мысли Ивана Соколова перенесли в памятные лето и осень 1941-го. Немцы с ошеломляющей быстротой захватили Литву, где он жил. Наследный дом Соколовых стоял недалеко от городка Швенчёнис, на северо-востоке республики. Его предки, поморцы, пришли когда-то сюда с севера, из Архангельской губернии и пустили корни на этой плодородной земле, рядом с озером Жеймяны. Местные жители вначале были недовольны пришельцами, иногда даже вспыхивали серьезные драки с поножовщиной. Слухи о конфликтах дошли до царя, и он прислал солдат во главе с молодым офицером. Всё быстро успокоилось, но офицеру и нескольким солдатам было приказано остаться в этих краях. Им были пожалованы хорошие участки земли, срублены добротные избы. Вскоре офицер-дворянин Иван Шметков присмотрел себе красавицу, которая впоследствии стала бабушкой Ивана Соколова. Деревня быстро строилась, и вскоре по количеству домов обогнала соседнюю литовскую. Пришельцы называли её – Абелораги. Поморцы даже соорудили клуб, где собиралась молодежь и танцевала под гармошку.

Революция 1917 года докатила свою вялую волну до Абелораг, но ничего не изменила в ее жизни. Здесь не было раскулачиваний и НКВД-шных чисток, Литва вышла из состава Российской империи. Линия фронта Первой мировой тоже счастливым образом миновала поселение поморцев. Лишь вторжение Красной армии в 1940-м принесло болезненные изменения в жизнь республики. До Абелораг быстро долетели слухи об отправке людей в сибирские лагеря. Отношения между русскими и литовцами стали стремительно накаляться. Если раньше неприязнь выливалась только в драки молодежи на танцах в клубе, куда, привлекаемые кра-

сотой местных девушек, приходили парни из литовской деревни Ошкиняй, то теперь жители обходили соседей стороной.

Тлеющие угольки межнационального конфликта ярко вспыхнули после 22 июня 1941 года. Литовцы, не скрывая, радостно приветствовали немцев. Части Красной армии, разрозненные и растерянные, в беспорядке отступали на восток. На берегах озера Жеймяны быстро вырастали безымянные могилы – это литовцы убивали одиноких красноармейцев. Досталось и евреям. В соседних Швенченеляе и Швенчёниси их сгоняли в лагеря, а нередко расстреливали на месте. Когда вихрем разнесся слух, что немцы забирают людей на работы в Германию, мужское население Абелораг ушло в леса партизанить. В том числе и Иван Соколов со своим старшим братом Федором. Дома у Ивана осталась жена Анна и трое детей – все девочки. По ночам братья навещались к своим за провиантом. Группы отступающих красноармейцев, пытавшихся вырваться из окружения, направляли в обход враждебных литовских деревень. Несколько раз старшая дочь Ивана – Полина, рискуя жизнью, переправляла на лодке бойцов вдоль озера Жеймяны, поближе к границе. Красноармейцы, ориентируясь по нарисованному Иваном на клочках бумаги планам, выходили к белорусским деревням и селам. Там они уже были в относительной безопасности.

В конце июля 1941-го случилась первая беда. Убили Федора. И его друга Бульбова Егора. Мужчины шли за продуктами в опасной близости от Ошкиняй, ранним утром, когда еще не рассеялся предрассветный туман. Женщины и дети Абелораг слышали эти винтовочные выстрелы. Литовцы стреляли из-за сарая с сеном, что стоял недалеко от проселочной дороги, по которой ездили к себе жители русской деревни. В полдень полицай Витас Чеснаускас привез на подводе трупы и сбросил их в пыль прямо посреди улицы.

– Принимайте первые гостинцы! – издевательски буркнул он, развернул лошадь и хлестанул вожжой. – Скоро и до вас доберемся! – пообещал литовец на прощание.

Бабы, воя, сбежались.

Федор и Егор получили по две пули в спину. Они лежали в пыли с белыми лицами, застывшими в мучительных гримасах. Рубахи превратились в кровавое месиво, черные мухи мгновенно слетелись на запах запекшейся крови и гниения. Люди растерянно стояли, пугливо перешептываясь, пока не подлетел на лошади дед Бульбова – седобородый старовер Кузьма. Он спешил и нетвердой походкой приблизился к телам. Поднял голову внука, дрожащей рукой почему-то потрогал его высокий лоб, словно проверяя – нет ли температуры, потом выпрямился и тихо сказал:

– Простите меня, Егорка и Федя... не уберег я вас...

Обернулся на женщин.

– Помогите, бабоньки. Погрузим на телегу, у нас дома обмоем, в погреб положим. Хоронить послезавтра утром. Надо мужикам в лесу сказать.

Но беда не приходит одна.

Соседи зорко следили за процессией, медленно двинувшейся от дома Кузьмы к деревенскому кладбищу, что находилось в центре огромного поля под сенью вековых деревьев. Иван Соколов не мог не прийти на похороны старшего брата. Ночью он переплыл озеро, подобрался к своему дому и тихо постучал в окно. Через полминуты там, в свете лампы, показалось испуганное лицо Анны. Она отперла и встретила в сенях громким шепотом:

– Ваня... Боже мой, сегодня немцы несколько раз проезжали по дороге, как будто ждут вас!

Иван устало махнул рукой и прошел внутрь. Заглянул в детскую. Улыбнулся. Поцеловал спящих дочерей. Потом обернулся к жене.

– Накрой на стол. Скоро наши подойдут. Утром Федьку и Егора хоронить будем.

Когда комья земли покрыли деревянные гробы, друзья по оружию шепнули Соколову:
– Уходить надо. Бабы говорили, что Витас крутился недалеко, да и немцы наезжали.
– Успею... – Иван поднял отяжелевшую от горя голову. – Помяну по- нашему, по-русски, и уж тогда – в лес!
– Ну, как знаешь... Мы пошли.

Едва Иван Соколов сел за стол, как в окно громко постучали. Он приоткрыл занавеску и увидел перепуганное лицо старшей дочери Полины:

– Папа! Немцы!!

Иван стремительно бросился черным ходом к сараю, что стоял за домом. Кровь молотом стучала в висках, сердце выпрыгивало из груди. Он бросил взгляд вправо – столб пыли и характерный стрекот мотоциклеток приближался к его дому. По проселочной дороге, вдоль леса ехали еще три коляски, отрезая путь к отступлению. Соколов рванул дверь сарая, взобрался наверх, на огромную кучу сена, зарылся вглубь и замер. Гортанные голоса заполнили двор. Немцы раздраженно спрашивали Анну – где муж? Та в ответ только испуганно твердила:

– Не знаю... не знаю... не знаю...

Вперемижку с немецкой речью звучала и литовская. Иван с изумлением узнал голос своего соседа – Алоиса Квейниса, которому когда-то абелоражцы разрешили поселиться в их деревне. После того, как умер последний хозяин добротного дома и наследник, живущий в Вильнюсе, продал его литовцу. Квейнис был тих, незаметен, трудолюбив, с большой семьей в пятеро детей старательно обрабатывал свой участок земли. И вот...

– Да... да... я его видел недавно... как он входил в дом... с оружием, господин староста! – подобострастно лепетал Алоис. Лицо его было непривычно бледным.

– Так где же он? – злобно прогремел голос старосты Ошкиняй.

– Не знаю, я не видел, чтобы он выходил, – ответил сосед Ивана.

– Говори, сука! – завизжал Витас Чеснаускас, повернувшись к жене Соколова. – Где муженек?? А то сейчас весь твой выводок утопим в озере!

Анна заревела в голос. Иван сжимал кулаки от бессильной злости, отгоняя огромное желание выскочить из сарая и расстрелять из «Шмайсера» хотя бы несколько сволочей. Он знал, что в этом случае погибнет сам и погубит жену с детьми. Немцы тщательно обследовали дом, подошли к сараю. Один из них, белобрысый, с крысиной мордой заглянул внутрь. Поморщился, увидев лишь сено, которым был набит сарай почти до самого потолка. Ему лень было лезть наверх, ковыряться в пыльной массе сухой травы. Немец сдернул с плеча автомат и прошил очередь пространство сарая. Иван почувствовал, как совсем рядом прошелестели пули.

«Только бы не загорелось... только бы не загорелось...»

Вторая очередь. Мимо. Третья. Вжиг!! Попал в руку возле плеча, там стало горячо и липко.

«Задел все-таки, сволочь...» – скрипнул зубами Соколов.

– Ванькаааааааааааа! Вылезай!!! – истошный женский крик заставил его вздрогнуть сильнее, чем от ожога пули. Анна, не выдержав угроз, напряжения, невольно выдала его. Немец, уже собиравшийся уходить от сарая, резко обернулся и всё понял.

– Оооо! Так ваш Иван там прячется? – заржал он. – Сейчас мы из огнемета его поджарим!

Соколов быстро пролез к краю сарая и с силой воткнул «Шмайсер» подальше в гущу сена. Потом скатился вниз, на землю, медленно вышел из ворот, подняв руки. Жена запричитала, забилась в истерике, увидев его окровавленную рубаху. Иван встретился глазами с Квейнисом. Тот не выдержал взгляда, опустил голову. Довольная крысиная мордочка подлетела к Соколову и разразилась потоком ругательств. Иван посмотрел в сторону дома, там к окну прилипли испуганные лица его дочерей.

– Хенде хох, руссишь швайне! – скомандовал немец. Он больно ударил рукояткой автомата между лопаток пленного.

– Убери детей от окна! – крикнул Иван. – Я вернусь, Анна!

Это были последние слова, что сказал Соколов жене перед расставанием. Впереди были пытки и избиения в комендатуре Швенчёниса. Били, в основном, литовские полицаи, некоторых из них Иван знал в лицо. На продовольственном рынке они когда-то покупали у Соколова зерно, овощи и рыбу, что тот привозил на подводе каждое воскресенье.

Особенно усердствовал Чеснаускас. Он мстил за давний случай, когда Соколов поймал его на озере глубокой ночью, за кражей рыболовной снасти. Они сцепились в лодке литовца, потом вместе упали в воду, и тут Иван пожалел Витаса. Видя, что тот наглотался воды и начал тонуть, вытащил на берег, переломил через колено, осушил легкие. Приволок в Ошкиняй. Литовец две недели валялся в больнице, но выжил.

– Ну, что с-сука, попался, наконец? – торжествующе шипел Чеснаускас, наклоняясь к лицу Соколова. – Сейчас я тебя накормлю рыбой вдосталь! Попрошу коменданта свозить тебя на Жеймяны, там кончить!

И бил, бил, бил по окровавленному лицу Ивана. До тех пор, пока на него не прикрикнул немец-конвоир.

Соколов не знал, что жена едва не угодила вслед за ним. Когда его уже увезли в комендатуру, литовцы, порыскав по деревне, вывели на окраину восемь женщин и четырех подростков. В том числе и Анну. Зареванные дочери побежали за ней вслед, но их отпугнули, пригрозив избить палками. Группу подвели к трем немецким солдатам.

– Годны к работе на великую Германию! Разрешите проводить их на станцию? – литовец смешно козырнул, приложив пятерню к уху.

– Мы сами... – хмуро ответил самый старший из немцев. – Вы проверьте местность вокруг озера.

– Слушаюсь, господин ефрейтор!

И литовцы скрылись в зарослях возле воды. Группа медленно поплелась в сторону Швенчёниса. Спустя пять минут пожилой немец дал сигнал Анне остановиться. Когда они оказались в хвосте, внезапно толкнул её в плечо. Женщина от неожиданности споткнулась и упала в высокую пыльную траву вдоль дороги. Немец приложил палец к губам: «Тихо!»

Анна замерла.

Её спаситель сделал знак, означающий одно: «Назад, домой и тихо!»

Неизвестный немецкий ефрейтор, вернув жену Ивана Соколова к детям, спас трех девочек от неминуемой голодной смерти.

Спустя неделю немцы подали на станцию Швенченеляй пустой железнодорожный состав, забили первые три товарных вагона евреями и отловленными взрослыми мужиками, русскими. Вой людей заглушил прощальный гудок паровоза, увозившего несчастных в Германию, на каторгу. Состав медленно двигался по Литве, от станции к станции, постепенно наполняясь будущими узниками. Особенно тяжело было в первые два дня. Люди сидели, лежали, стояли в товарняке, как сельди в бочке, мучились от жажды, но конвоиры отгоняли от железнодорожного пути сердобольных женщин с ведрами, заполненными водой. На других станциях было полегче, в вагоны иногда залетали буханки хлеба, тут же раздираемые на части руками несчастных.

На четвертый день появились первые погибшие. Умерли трое маленьких детишек из евреев и две женщины. Смердный запах внутри не выветривался ни на минуту, люди ходили под себя, лишь на редких остановках им разрешали туалет прямо у вагона.

Рядом с Иваном сидел седой старый еврей и беззвучно плакал, глядя на этот ужас. Его многочисленное семейство было раскидано по всему составу. Жена, дети, внуки, родственники. Они не успели собраться и убежать на восток, настолько стремительным был бросок

вермахта в первые два дня войны. Еврея звали Семён Припис. Соколов помог ему забраться внутрь в Вильнюсе, когда увидел, что конвоир с винтовкой наперевес идет к грузному старику, который никак не может забросить ногу на дощатый пол вагона.

– Всё, это конец... это конец... всё... – шептал еврей, и слезы катились по его морщинистым щекам.

Иван скрипнул зубами.

– Не хорони себя раньше времени, папаша! – глухо проговорил он, наклоняясь к соседу. – Что-нибудь придумаем.

– Что вы таки придумаете? – всплеснул руками старик. – Нас перестреляют как куропаток! Их доктрина давно известна – уничтожить всех евреев и славян! Как права была моя Мася, что призывала нас еще в 39-м уехать к родственникам в Биробиджан! А теперь...

И он горестно, безнадежно махнул рукой.

– Не дрейфь, Сёма, всех не перестреляют, не перевешают! – зло ответил Соколов. – Веревки и патронов не хватит!

Проехали Варшаву.

Состав был уже забит битком, но немцы умудрялись запихивать в вагоны новые жертвы. Над пыльным перроном вокзала столицы Польши стоял неимоверный вой, люди внутри зажимали пальцами уши, чтобы не слышать этот рев отчаяния и скорби, прощания с надеждами, вопли страха перед неизбежной гибелью. Поляков почти не было среди новых узников, только евреи.

Иван сидел на полу возле двери вагона, согнув колени и прислонившись головой к деревянным доскам. Он старался отрешиться от происходящего, его мысли занимала только одна тема: «Бежать!» Еще в первый день он заметил, что доски пола, как раз там, где он сидел, расшатаны, и в некоторых местах между ними можно просунуть палец. Головки гвоздей, вонзенных в деревянные перекрытия, не были устрашающе мощными.

«Эх... топор бы сейчас сюда, – с тоской думал Соколов, ощупывая глазами прибывающих узников. – И пару крепких мужиков посмелее...»

– Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук! – колеса выбивали свою привычную дробь, равнодушно безжалостную, монотонную. С каждым часом Иван чувствовал всё большую тоску по дому, по дочерям и жене, что остались в Абелорагах. Без него они были обречены на полуголодное существование.

Вечерело.

Состав нёс в своей утробе тысячи разорванных судеб. Ни одной улыбки, ни единого радостного восклицания, ни единой шутки не раздавалось внутри. А наоборот, некоторые люди, испуганные и раздавленные, озлобленно теснили соседей, пытаясь отвоевать для себя кусочек пола, где можно было хоть чуть вытянуть ноги.

– Да не толкайся ты! – взвизгнул кто-то фальцетом. – Я и так все ребра натер об эту железяку!

– А мне куда прикажешь деться! Сам напирал, что в очереди гетто за пайком!

Иван Соколов вздрогнул. Он приподнял голову, потом встал, выглядывая спорщиков. На его место тут же угнездились чьи-то ноги в пыльных ботинках.

– Что за железяка там, гражданин? – громко спросил Соколов.

– Таки скоба тут торчит в стенке! Я об неё уже синяк набил себе! Не толкайся, я сказал, а то сейчас сам толкну!

– Тише... тише, господа евреи! – усмехнулся Иван. – А ну, пропусти! Дай пройти туда на минутку, убери ноги!

Он с трудом протиснулся к задней стенке вагона, откуда доносился голос и радостно улыбнулся. За спиной пожилого еврея торчала железная скоба, которой крепят между собой бревна и толстые доски.

– Поберегись! Отползи, я сказал! – Иван поплевал на ладони и взялся двумя руками за железо. Потянул. Не идет.

Он крикнул, чуть отдышался и, осмотревшись вокруг, тихо сказал стоявшему в трех метрах от него молодому парню:

– Эй, друг, тебя как звать?

Тот буркнул:

– Илья, а что?

– А по фамилии?

– Ройзман.

– Вот что, Илья, помоги мне, прошу!

– Помочь? Зачем тебе эта железка?

– Скоро узнаешь. Так сможешь или нет?

Парень пожал плечами и протиснулся к Ивану.

– Давай вместе. Я двумя руками сверху, ты хотя бы одной, понял?

– Не дурак, понял...

Они рванули изо всех сил. Скоба поддалась и вылезла из дерева. Еще раз. Идет. Еще. Всё! Иван с Ильей с трудом удержались на ногах, едва не упав на головы сидевших сзади людей.

– Пошли к той стенке... – тихо проговорил Соколов.

– Зачем?

– Пол пощупаем.

Спустя пять минут в вагоне раздался возмущенный крик Сёмы Приписа:

– Что вы таки делаете! Нас на следующей станции всех выведут из вагона и расстреляют!

Не трогайте доски!

Соколов, весь красный от напряжения, с ненавистью процедил:

– Заткнись, старая сволочь! Лучше бы убрал свою задницу в сторону и не мешал. А ну, прочь отсюда, я сказал! Назад! Не то сейчас башку разможжу!

Толпа испуганно отползла.

Он сумел расшатать первую доску, поддев её скобой в щель.

– Пальцы засовывай, Илья. Тогда дернем вместе!

Пол капитулировал. Сначала одна доска, потом соседняя, третья, четвертая. Не слушая ругательств и причитаний людей, похожих на овец, покорно идущих на убой, двое мужчин боролись за свою свободу. Внизу было темно, как в преисподней, мелькание шпал сливалось в один сплошной черный поток.

– Ты что, хочешь прыгнуть? – прошептал Илья. – Там же колеса, сразу раздавит.

– Не сейчас, конечно, – скрипнул зубами Иван. – Может на подъёме тихо пойдет или перед станцией затормозит. Дай скобу! Держи меня за ноги!

Он лег на пол, опустил верхнюю часть туловища вниз и вытянул руку с железкой к шпалам. Звякнуло. Соколов отдернулся назад.

– Быстро едет, нельзя сейчас...

– А вдруг скоро станция? Надо доски назад поставить, увидят – сразу убьют! – в голосе Ильи отчетливо слышались нотки страха.

– Какая разница, когда убьют. Сейчас или спустя год, после того, как поизмываются и заставят рабом пахать на них! – жестко ответил Соколов. – Эх, польская матка боска, Святая Дева Мария, помогла бы ты нам на этой земле!

– Не было никакой Девы Марии! – раздался возмущенный скрипучий голос Приписа. – Вас уже сколько веков вводят в заблуждение!

Иван Соколов, вглядываясь в темноту, хотел было сказать что-то религиозному знатоку, как внезапно состав резко дернулся, загремел колесами, зашипел тормозами и спустя минуту – остановился.

– Ну вот, Сёма, а ты говорил, нету никакой Девы Марии! – возбужденно и весело прошептал Иван. – Услышала она меня, понял!? Илья, идешь со мной?

Он снова опустился вниз, протянул скобу, чтобы убедиться (состав стоит!) и оглянулся на напарника. Тот заметно побледнел, явно колеблясь с выбором.

– Как знаешь, а я пошел!

Иван схватился руками за края досок, опустил свое тело вниз. В ноздри ударило запахом колесной смазки, мазута. Соколов ползком перекатился через рельс, и, пропахав коленями пару метров от вагона, приподнялся.

Темно, ночь.

Лишь впереди виднелись огоньки, видно поезд остановился перед станцией, ожидая, когда дадут свободный путь. Рядом, за насыпью, шумел спасительный лес. Вдруг из вагона вывалилась вниз чья-то тень и закопошилась там, словно не зная дороги.

– Илья, ты?! – громким шепотом спросил Соколов. Он видел, что человек почему-то никак не может выбраться из-под вагона, тыркаясь, словно слепой котенок. Соколов подполз к рельсам.

– Да, я! – раздалось в ответ. – Зацепился одеждой за что-то...

В этот момент Иван услышал нарастающий грохот. Он знал, что означает такой шум – паровоз тронулся и от вагона к вагону передается начало движения. Соколов стремительно нырнул на рельс, схватил напарника за руку и с силой дернул на себя. Раздался треск, одновременно с движением вагона. Парень вылетел на насыпь из-под надвигающегося колеса. В темноте было отчетливо видно его побледневшее лицо.

– Уходим в лес! – Соколов быстро увлек Илью за собой, боясь, что охрана из последнего вагона заметит беглецов. Спустя десять минут они упали на мягкую землю под высокими корабельными соснами, чтобы унять бешено колотившиеся сердца...

...Номер 9009-й тяжело вздохнул, перевернулся с боку на бок на жестком матраце. В мыслях он переносился туда, в этот сладкий миг свободы, и ему казалось, что будь у него новая возможность очутиться в том сосновом лесу Польши, он сумел бы по-другому распорядиться представившимся шансом. В бараке кто-то тихо стонал, иногда слышались всхлипы, будто бы здесь спали не взрослые мужики, а маленькие дети. Иван открыл глаза, жестокая реальность сегодня почему-то не хотела никак отпустить его; лишь забытье сном приносило какое-то облегчение. И то, эти сны были совсем другие, нежели в довоенной жизни. Словно невидимая стальная дуга прочно вошла в самую середку человеческих душ и застряла там намертво, отливая холодом крадущейся рядом Смерти.

Одинокая лампочка в углу барака тускло освещала грязные разводы потолка. Они были досконально известны памяти Соколова; много раз он путешествовал по ним взглядом, словно плыл на своем внутреннем корабле по озеру Жеймяны, фантазируя, представляя, что это вовсе не полосы, а волны; и он волен умчаться на своей большой лодке прочь отсюда, подальше, к родному берегу...

Они шли всю ночь по лесу, медленно, не торопясь, напряженно вглядываясь в темноту. Под ногами шелестели сухие сосновые шишки, иногда они лопались с громким хрустом; Илья нервно вздрагивал, замирал. Соколов всегда хорошо ориентировался в лесу, но теперь шел наугад, в обратном направлении от огоньков той станции, хотя и не был уверен, что они дви-

гаются на Восток. Слишком сумбурным был их первый десятиминутный бег от зловещего состава.

До утра беглецы пару раз нарывались на польские хутора, там лаяли собаки, Иван и Илья поспешно отходили назад, потом делали наугад крюк, обходя дома, где могли квартироваться немецкие солдаты.

Светало.

Иван шел впереди, не спеша, внимательно вглядываясь в промежутки между деревьями. Пару раз они садились передохнуть, перебрасывались несколькими фразами, вслушивались в звуки ночного леса. Наконец, около семи утра где-то далеко слева послышался паровозный гудок. Вот ориентир! Железнодорожная ветка, ниточка, ведущая к дому!

– Надо идти вдоль полотна, в сотне метров от него... – задумчиво проговорил Иван. – Только не мешало бы разжиться едой.

– Где мы её возьмем? – горестно ответил Илья. – На хутора опасно соваться, поляки плохо относятся к русским после 39-го года.

– Да не все плохо. Есть люди, что понимают, политики во многом виноваты. А не простые иваны да марьи! К тому же мы с тобой прекрасно говорим по-польски.

– Зачем ты всю дорогу тащил эту железяку? – недоуменно спросил Ройзман, покосившись на Соколова.

– Забрал. Вдруг пригодится? Мало ли... Без нее бы не убежали.

Наступило молчание.

– Всё, пошли! – Соколов поднялся, отряхнул брюки. – Надо рисковать. Без еды мы скоро ноги протянем.

Спустя полчаса они вышли к железной дороге. Стальные ниточки уходили вдаль, маняще, притягивая к себе, навевая тоску по родному дому. Вот бы сейчас сесть в первый поезд, идущий на восток! Быстро, быстро назад! И обнять жену, дочерей. Но нельзя, на каждой крупной станции – немецкий патруль. Беглецы отошли от дороги, но не на сотню метров, а ближе, чтобы не терять её из виду. С каждым часом сил становилось всё меньше. Иван видел, что Илья сдает. Несколько раз они натыкались на небольшие лесные водоемы, жадно склонялись, зачерпывали воду ладошками и пили, утоляя жажду. Немыслимо хотелось есть.

Снова послышался лай собак. И сразу за ним – коровье мычание. Справа от полотна.

– Хутор. Примерно полкилометра отсюда. Я не могу больше, пошли туда! Какая разница – от голода сдохнуть или немецкой пули? – устало проговорил Илья.

– Хорошо, идем, – согласился Соколов.

Они, лежа между кустами на опушке леса, внимательно вглядывались в небольшие домики польской деревни. Аккуратно ухоженные грядки. За ними на лужайке паслись три коровы. Фигур людей не было видно. Поднималось солнце, высушивая утреннюю росу. Беглецы лежали с полчаса, не решаясь выйти из укрытия. Потом Соколов прошептал:

– Немцев не видно. И вообще как будто всё вымерло. Идем! Я кое-что заметил!

Он поднялся и, чуть сгорбившись, неторопливо пошел к углу участка. Илья тенью следовал за ним. Иван сдернул с плетня ведро, воровато оглянулся.

– Ты что? Зачем? – прошептал Ройзман.

– Тихо. Подержи лучше скобу!

С ведром Соколов медленно приблизился к коровам. Те перестали жевать траву, подняли головы, глядя на незнакомца. Иван подошел к ближней, ласково погладил корову по холке. Та мотнула головой и отбрыкнула.

– Тише, тише... милая, я знаю, что вы не любите чужих... тише.

Вторая корова недовольно замычала и тоже отбежала.

– Ну, а ты? У меня дома осталась такая же красавица. Звать Звездочкой. Точно такое пятнышко на лбу. Тише милая, я только сейчас...

Соколов проворно нагнулся, поставил ведро под вымя и аккуратно потянул соски. Польская Звездочка повернула голову, взмахнула хвостом, отгоняя мух, но осталась стоять. Первые струйки брызнули в ведро. Вымя было полупустое, со вчерашнего вечера, когда хозяйка подоила корову, нового набралось немного.

...«Быстрее... быстрее... только бы не взбрыкнула... быстрее»...

Белые струйки со знакомым звоном врезались в металл.

Спустя пять минут Иван быстрым движением вытащил ведро из-под коровы и облегченно вытер пот со лба.

Он увидел, как Илья, облизывая пересохшие губы, чуть ли не бежит к нему.

– Давай! Это уже не вода, а получше! Пей! Эх, хлеба бы краюху! – Соколов осторожно передал ведро Ройзману.

Тот жадно впился зубами в край, белые струйки быстро потекли по рубахе вниз.

– Осторожнее, не спеши... – Соколов оглянулся по сторонам. По-прежнему никого. Илья оторвался от ведра, передал его, и Соколов с наслаждением впустил в себя такой знакомый аромат парного молока.

– Уфф! На, допивай! – Иван впервые за последние дни улыбнулся. – Пошли к дому!

Они не видели, как из окна на них давно уже внимательно смотрят. Соколов повесил пустое ведро на место, и беглецы медленно подошли к маленькому крыльцу.

– Эй, люди добрые! Есть кто живой? – Иван тихонько постучал в окно.

Тишина.

Соколов дернул за ручку. Заперто. Иван нагнулся к двери.

– Изнутри закрыто. Значит, дома кто-то есть... – пробормотал он, поднял голову и встретился взглядом с женщиной. Молодая полька испуганно смотрела на незваных гостей через стекло.

– О! Пани! Здравствуйте, не бойтесь нас! – Иван прижал руку к сердцу. – Мы не разбойники. Только дайте немного хлеба, ради святой девы Марии...

Спустя час они крепко спали на сеновале, сытые и счастливые.

Гнетущее чувство голода как будто осталось в страшном прошлом, в жутком сне. Хозяйка дома по имени Тереза сначала запаниковала, увидев незнакомцев. Но, узнав, что Иван и Илья живут в районе Вильнюса, расчувствовалась. В самом Вильнюсе находились почти все её родственники. Мужа в 1938-м призвали в войско польское, где он служил кавалеристом. На третий день войны, в сентябре 39-го, его послали с саблей наголо против свиного танкового клина генерала Гудериана.

Поляки гибли тысячами.

Иван неплохо говорил по-польски, он часто общался с панами и панночками на рынке Швенчёниса. Тереза скоро собрала на стол, рассказывая последние новости. Немцев в округе немного. Стоят небольшим гарнизоном в пяти километрах отсюда, в маленьком городишке. В деревне людей мало, мужчины днем прячутся по лесам, боясь отправки на работы в Германию. Месяц назад немцы внезапно нагрянули и забрали пятерых. Из-за шторы, закрывающей вход в комнату, с любопытством выглядывал белобрысый пацан лет семи.

– Мой Стефан, – кивнула в его сторону Тереза и быстрым движением смахнула слезу. – Не знаю, как теперь жить... скоро зима, надо хлеб убирать, тяжело без хозяина.

Иван сразу вспомнил трех дочерей. «И моим тяжело...» Потом бросил взгляд на Илью, толкнул коленом под столом. Тот понял намек, но грустно покачал головой.

Доели.

Как только бухнулись на гору ароматного сена, снова воспоминание молнией прострелило мозг Соколова – крысиная мордочка, очереди из «Шмайсера».

– Может, останешься, Илья? – тихо спросил Иван. – Попросись не как муж, а как работник хотя бы. Я не могу, у меня трое детей в Абелорагах.

– Нет, я хочу к своей Соне... Понимаешь? – произнес Ройзман.

– Какая Соня? Потом вернешься. Война рано или поздно кончится! А сейчас здесь намного спокойнее, чем в Вильнюсе и окрестностях! Кроме немцев – литовцы лютуют! Сторишь во второй раз!

– Соня моя невеста. Она прячется у таких же поляков. Фронт прошел, скоро должно всё успокоиться и у нас!

– Ну, смотри, как знаешь...

Когда уходили, нагруженные двумя узлами с едой, обернулись. Коровы мирно щипали траву, возле них стояла Тереза, смотрела вслед беглецам. Что-то ёкнуло в душе Соколова, мелькнула мысль: «Может, самому здесь отлежаться, пока устаканится в Литве?»

Но, вспомнив лица дочерей, он отогнал эту мысль, как внезапную муху посреди зимы.

Они шли уже восьмой день, тщательно обходя крупные поселки. В одном месте снова разжились едой у пожилой четы поляков. Хозяин, порывшись в старом гардеробе, нашел для мужчин поношенные костюмы.

Оделись. Иначе уже становились похожими на оборванных бродяг.

Не заметили, как перешли границу Польши с Литвой. Это потом, в Советском Союзе она будет на замке: с колючей проволокой, разделительными полосами, пограничными нарядами с собаками.

Ройзман натер ногу и захромал. Иван смастерил на скорую руку лапти из березовой коросты, напихал внутрь зеленого мха, чтобы было мягче. Илья сразу повеселел, и с каждым километром, приближающим беглецов к Вильнюсу, волновался все больше и больше.

– Пойдем в обход? – спросил Соколов, когда с холма, что находится западнее города, Вильнюс открылся, как на ладони.

– Зачем? Моя Соня, надеюсь там. Я сегодня её должен увидеть! Куда я пойду? С тобой? В твою деревню?

– Там спокойнее. И вдвоём легче нам добраться. Осталось сотня километров примерно.

Илья замахал руками:

– Нет, даже не может быть и речи! Идем в город! Выглядим мы прилично. Соня прячется не в центре, а на окраине, в домах, что у реки.

– А как патруль? Документов нет.

– Скажем, что беженцы, погорельцы, всё добро и документы пропали. У Сони передохнешь, потом ночью уйдешь в свои Абелораги. Уже совсем близко, вон он, дом моей невесты! Метров восемьсот осталось.

Снова мучил голод. И Соколов решил.

– Идем!

Они шли между низеньких домиков, по району, где жили почти одни поляки, как послышался шум мотора, из-за угла, с соседней улицы, вынырнул немецкий бронетранспортер. Поднимаемая клубы пыли, машина устремилась вдоль улицы.

– Бежим! – крикнул Иван и бросился влево, за большую кучу сваленных бревен возле забора. Оглянулся.

Илья Ройзман словно оцепенел. На его лице блуждала растерянная улыбка, он сделал лишь три шага в сторону, словно желая пропустить бронетранспортер и, сорвав кепку с головы, чуть наклонился с почтительным видом. Он не дошел до дома любимой каких-то двадцать метров. Соколов скрипнул зубами, потом подполз к забору, резкими движениями вырвал одну за другой три штакетины. Нырнул в густые заросли смородины. Упал на землю, замер.

– О! Юде! Юде! Ком! – раздались радостные крики немецкой солдатни. Потом жалобный вопль Ройзмана.

Сухая автоматная очередь из «Шмайсера».

Иван лежал на земле, глядя перед собой. По тонкой ниточке сухой соломинки весело бежал маленький муравей. Человек в эту секунду завидовал ему. Над муравьишкой не висело страшное, томительное ожидание чудовищного удара в спину. И всё. И – темнота. Он умрет, а муравей спокойно продолжит свой незатейливый путь.

Взревел мотор бронетранспортера. Шум его стал удаляться. Иван не верил своим ушам, ему казалось, что этого не может быть, что его Смерть, сидевшая в железной машине, сейчас одумается, вернется за ним, сюда, в этот фруктовый садик. Муравей сбежал с конца соломинки, исчез в густой траве. Затих и гул немецкого бэтэра. Соколов не вставал еще минут десять, до тех пор, пока с улицы не послышались женские рыдания.

Илья Ройзман лежал на спине, глаза неподвижно смотрели в родное вильнюсское небо, кисти рук сжимали землю, что он загреб в мучительной агонии. Тело было прострелено наискосок, от правого бедра к левой ключице. Несколько пуль. Одна точно в сердце. С левой ноги слетел сделанный Соколовым березовый лапоть. Медленно подходили люди. Шепот – испуганный, горестный. Иван чувствовал на себе взгляды местных. Чужой! Красивая черноволосая девушка, что сидела на коленях возле тела Ильи, подняла заплаканное лицо и посмотрела в глаза Ивану.

– Зачем вы пришли сюда? – слова, слетающие с дрожащих губ Сони, словно огнем выжигали душу Соколова. – Почему вы живы, а его убили? Почему??

Иван поднял правую руку, перекрестил Илью и, сгорбившийся, поникший, пошел прочь.

До ночи Соколов лежал в густой траве возле реки. Когда стемнело, разделся, и, сжимая одежду в левой руке, переплыл реку. Потом пошел по знакомым улицам северной части Вильнюса.

«Выйду за город, утром постучусь к кому-нибудь, попрошу хотя бы кусок хлеба. А то ноги протяну...» – думал Иван.

Он не дошел до родных Абелораг всего пятьдесят километров. Когда измученный, присел возле дороги на Швенчёнис, его настиг конный полицейский патруль литовцев. Мордастые ребята, четверо, с белыми повязками на рукаве. За спинами винтовки.

– Кто такой? Документы! – потребовал старший, литовец лет сорока, ненавидяще глядя на Соколова.

– Беженец я. Погорелец. Ничего нет, – глухо ответил тот.

– Сейчас разберемся! Альгидас! Бери его на веревку, и едем на станцию! Там как раз погрузка идет...

Номер 9009-й повернулся на матрасе и вздохнул. Он снова прокручивал этот эпизод в памяти, и понимал, что легко отделался в тот день. Если бы немцы узнали, что он сбежал с эшелона, расстрел был неминуем. А так...

Его с ходу засунули в состав, и буквально через десять минут поезд тронулся. Снова вопли прощания, крики отчаяния и слезы. На этот раз Соколову не повезло. Он ехал в последнем вагоне, где два конвоира с тормозной площадки через большую дырку в деревянной стенке присматривали за будущими узниками концлагерей. Да и бежать уже не было сил. Иван был уверен, что скоро умрет от голода, но в польском городе Познань повезло. В вагон затолкали с десятка два евреев. С грохотом закрылась дверь, тонкие лучики солнца проникали внутрь сквозь щели в досках. Новенькие с трудом находили себе место, тесня лежащих людей.

– Подвинься, пан, проше... – к плечу Соколова аккуратно прикоснулась рука черноволосого мужчины лет тридцати пяти. Иван с трудом разлепил веки. Чуть привстал, подобрал ноги, кивнул:

– Садись. По очереди будем спать. Или бодрствовать. Если доедем, конечно...

И протянул мозолистую ладонь:

– Иван Соколов!

– Яков. Штейман... – тихо произнес черноволосый. Потом помолчал и спросил:

– Давно в пути?

– Давно... – Соколов не узнавал свой голос. Хриплый, надсадный, измученный. – Я уже одиннадцатые сутки еду.

Штейман повертел головой и удивленно спросил:

– Что, разве так медленно идет состав?

Соколов вымученно улыбнулся:

– Нет. Я по второму заходу.

Еврей внимательно посмотрел на лицо соседа и быстро вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток.

– Возьми, Иван. Поешь. Мне жена собрала в дорогу. Самое вкусное из нашей продуктовой лавки.

– А ты? – хрипло прошептал Соколов.

– Что оставишь, я доем. Бери, а то смотрю, от голода скоро сознание терять станешь...

На следующей станции снова повезло. Сердобольные женщины сумели передать три ведра воды, люди в вагоне утолили жажду. Поезд прошел границу Польши с Германией и быстро приближался к Берлину.

– Куда нас, интересно, везут? – тихо проговорил Штейман. – Вроде проехали Франкфурт на Одере. Он посматривал в дырку между тормозной площадкой и пространством вагона.

– Едем в сторону Лейпцига, на юг, – спустя день заключил Яков.

– Откуда ты знаешь? – недоверчиво спросил Иван.

– По солнцу смотрю. И еще я раньше бывал в Берлине. И в Лейпциге тоже. По этой ветке едем! – уверенно сказал Штейман.

Последние два дня были невыносимы.

В каждом вагоне умерло по несколько человек. Трупы сгружали на станциях, узники видели, как подъезжали грузовые машины и тела забрасывали в кузов, словно бревна. Вскоре стал меняться пейзаж – начинались горы.

– По-моему, нас везут на юг Германии или в Австрию. У них там шахты, я слышал, военнопленных используют на горных работах, в основном, – заключил Штейман. Он не ошибся.

Поезд остановился. Резко клацнули задвижки на дверях.

– Ауф дес Ауфганг! На выход! – прозвучала отрывистая команда.

Слепящий свет заставил зажмурить веки. Штейман, придерживая за локоть Соколова, подобрался к краю. Спрыгнули. Иван чуть не упал на ослабевших ногах, но сумел удержаться.

Замученные люди оглядывались по сторонам. Красота. Горы. Зелень. Аккуратные домики. Небольшой вокзал. Чистая платформа.

И надпись черными буквами на белой металлической табличке: Mauthausen.

Яков Штейман

Номер 9010-й в эту ночь тоже, как и Соколов, почти не спал. Он то забывался в короткой дреме, то вдруг просыпался от невидимого толчка, лежал с закрытыми глазами, слушал, как ворочается на своем матрасе сосед. Потом снова наступало забытие, с быстрыми снами, которые тут же исчезали из памяти, едва он возвращался в явь.

Штейман никак не мог отделаться от неприятного ощущения, которое возникало от мысли-воспоминания о плохой примете. Она заключалась в том, что перед смертью у человека как бы проходит перед глазами вся жизнь. И уже вторую ночь Якова мучили именно такие видения. Он отчетливо видел себя как бы со стороны, отстранённо, все наиболее памятные моменты биографии его шли отчетливой лентой по белому экрану, ярко, в красках, с подробностями.

Познань, 1905 год.

Якову всего три года, каждый день приносит мальчику новую радость, новые открытия. Родители балуют своего первенца. Отец Штеймана держит большую продуктовую лавку и частенько разрешает взять с витрины самые вкусные вещи. Когда дед и бабушка Якова ругают папу за такое, тот лишь счастливо смеется.

В школе Яша впервые сталкивается с жестокостью сверстников, впервые слышит за спиной шипящее «жид». Он недоумевает поначалу, злится, даже вступает в драку с одноклассниками. Но потом, после долгого разговора с отцом, успокаивается. И принимает шипение как должное. Как восход и заход солнца, снег или дождь за окном. Яша учится на отлично, все науки даются ему легко. Особенно точные – математика, геометрия, физика.

В третьем классе мальчик увлекается шахматами. Когда он навещался к родне, то видел, как в их доме гости иногда задумчиво передвигают деревянные фигурки, сражаясь между собой. Яков брал стул, подсаживался и наблюдал за процессом, неотрывно глядя на доску. Быстро научился правилам игры и решительно требовал, чтобы дед включал и его в число противников.

В пятом классе мальчик, к всеобщему изумлению, начал обыгрывать всех гостей и самого дедушку. В девятом Яша Штейман стал чемпионом города Познань. Любители шахмат собирались по выходным в просторном кафе, что держал веселый поляк по имени Юзеф, и нередко засиживались там до полуночи, сражаясь между собой. На слуху были имена легендарных Ласкера и Капабланки, один раз Эммануил ошачил своим появлением городских любителей, прочтя небольшую лекцию о своем поединке с кубинцем, и дав сеанс одновременной игры. Яша Штейман сыграл со знаменитым чемпионом вничью! Отец, бледный от гордости, стоял за спинкой стула, где сидел его сын и анализировал окончание с Ласкером. Чемпион благоклонно улыбался, дымил сигарой. В конце анализа порекомендовал юноше всерьез заняться игрой и подумать о профессиональной карьере.

Этот день во многом решил дальнейшую судьбу Якова. Одноклассники снисходительно посмеивались над ним, девушки слегка подтрунивали. Он совсем не обращал на них внимания, целиком поглощенный мыслями не только об учебе, но и о своем совершенствовании в шахматах.

Первая мировая война принесла евреям Познани страдания. Две их общины – ортодоксальная и реформистская была ориентированы на немцев, а после поражения Германии, в декабре 1918 года в городе началось Великопольское восстание.

Якову было шестнадцать. Он с недоумением увидел, как ироничное отношение к нему одноклассников сменилось на злобное; его два раза сильно избили. Лавку отца разграбили под

шум боя немецких частей с войском польским. Восставшие победили, и Познань отошла снова к Польше.

Штейманы убежали в деревню к родственникам, и только когда всё успокоилось, вернулись домой спустя год.

Увлечение Якова шахматами неожиданно сыграло роль спасительной соломинки. Он поехал в Варшаву и там сенсационно разделил первое место с самим Акибой Рубинштейном. Отголоски такой победы долетели до городского главы Познани, тот любезно разрешил отцу Штеймана вновь возобновить торговлю в продуктовой лавке. И, хотя поляки по-прежнему косо смотрели на евреев, жизнь постепенно налаживалась. Яков ездил по Европе, играл в шахматы, получая небольшие призовые гонорары. На них можно было жить, хоть и не богато, но не бедствуя.

Номер 9010 перевернулся на живот и подложил правую руку под голову. В бараке становилось душно. Особенно это чувствовалось на верхних ярусах. Но там было другое преимущество – никто во сне не задевал ногами, сверху не тряслись деревянные доски, когда соседи ворочались во сне или спускались вниз к параше. Одинокая лампочка освещала угол, где стояла большая деревянная бочка с нечистотами. Высотой примерно полметра, диаметром с метр. Одно время Штеймана назначили шайзпунцером, то есть уборщиком кала. За дополнительную миску баланды он и еще двое заключенных выносили по утрам бочку. Это было невыносимо. От Якова всё время несло нечистотами, соседи по койке ругали его последними словами. Однажды напарник Якова провинился, уронил свой край бочки, и она вылилась прямо перед порогом барака. Капо злое усмехнулся, потом выругался, огрел плеткой с гайкой на конце каждого по спине. Шайзпунцеры подумали, было: пронесло!

Но нет.

На следующий день рано утром к ним ворвались трое уголовников из соседнего барака, так называемые блокэльтестеры, и, вырвав виновного с нар, потащили к параше. Цыган весело играл плеткой и командовал. Несчастного сунули головой в нечистоты и держали до тех пор, пока он не захлебнулся.

– Вот так будет с каждым провинившимся! – объявил Миха, когда безжизненное тело бросили на холодный пол. – Вас двоих (он кивнул на Штеймана и второго напарника) я пока оставляю в живых, но теперь парашу будут носить... ты, ты и ты! (тычок плетки в грудь троих заключенных, стоявших перед капо).

«Повезло! – мелькнуло в голове Якова. – Лучшие голодать, не надо этой миски, чем вонять на три метра вокруг!»

Его мысли вращались вокруг одной невидимой оси. То отдаляясь от неё, то снова приближаясь.

«Зачем лагерфюреру понадобились узники-шахматисты? Вспомнил Баден-Баден 1937 года... Да, я играл там, в главном турнире, где были одни профессионалы. А рядом проходил ещё один, для всех желающих. Значит, этот немец, Нойман, играл в нём и меня прекрасно запомнил. Ещё бы...»

Штейман горько усмехнулся. Память услужливо рисовала эпизод последнего тура. Толпа зрителей из игроков, закончивших партии. Решающая схватка за первый приз. Против Якова сидит немецкий мастер Фридрих Мюллер. В Германии уже в разгаре пропаганда теории «сверхчеловека», истинного арийца. Но таких известных иностранцев, как Штейман, пока не трогают. Наоборот, приглашают для участия в турнирах, поднимая их престиж. Особенно популярен славянин Алехин, чемпион мира. Олимпиада 1936 года сбила спесь у проповедников такой теории – холодным душем стали победы негритянских атлетов.

И вот эта партия... Штейман кожей чувствовал недружелюбные взгляды большинства зрителей. Наверное, среди них как раз стоял этот Нойман. Яков великолепно закончил схватку, нанеся остроумный тактический укол. Мюллер злобно опрокинул короля и резко встал из-за столика, не поздравив соперника с победой. Яков улыбнулся растерянно, наивно, и как-то по-детски, словно извиняясь, развел руки в сторону: «Это – игра!»

Когда награждали победителей, зал активно аплодировал и третьему и второму призеру. Судья громко объявил имя победителя: «Штейман!» Польский еврей робко пошел за конвертом с банковским чеком. Раздались жидкие хлопки, потом наступила гнетущая тишина. Яша взял конверт, быстрым шагом направился к выходу.

– Как же банкет, маэстро!? – пытался остановить его организатор.

– Простите, но я плохо себя чувствую... – пробормотал Штейман, виновато улыбнувшись. – Спасибо вам.

Номер 9010-й отчетливо помнил злорадное выражение на лицах некоторых участников турнира, что оборачивались ему вслед. Но не все немцы с нескрываемым раздражением относились к евреям.

«Быть может, этот Нойман как раз из них? Если он сам игрок, любит шахматы, то должен испытывать какое-то уважение к мастерам этого дела? Как тот организатор, что приглашал меня не раз на свой фестиваль. И теперь Нойман хочет просто посмотреть на игру, отвлечься от этого ужаса, в который сам невольно вовлечен обстоятельствами... Многие немцы стали массово вступать в нацистскую партию, когда увидели, что Гитлер взял верх и стал популярен.

Попасть в струю. Не отстать от удачливых приятелей. Никто же не предполагал особо в 33-м, что Германия так скоро начнет боевые действия сразу на два фронта? Бог мой, как все стремительно изменилось в том 39-м...

Яков по-прежнему жил в Познани, когда грянуло роковое 1 сентября. Он к тому времени обзавелся семьей, жена Гита родила девочек, близняшек, назвали их Дора и Хася. К началу войны девочкам исполнилось по 10 лет. Войска вермахта прошли Познань с ходу, почти без боя. Центральные улицы города заполнили запахи вонючих сизых выхлопов солярки из танков и бронетранспортеров, пылью от мотоциклеток, топота сапог «сверхчеловеков». Какие-то немецкие части расквартировались в Познани, рядом со зданием вокзала устроили комендатуру. В жизни поляков и евреев наступили новые, тяжелые времена. Отец и мать Якова еще летом уехали на хутор и там пережидали этот ужас.

На второй день оккупации жителям было приказано регистрироваться в недельный срок. За неповиновение – расстрел. Комендатура была забита людьми, очередь выходила на улицу. Когда подошел черед Якова и Гиты с девочками, они уже знали – к евреям особое отношение.

– Имя, фамилия! – на ломаном польском гаркнул худощавый немец в очках, бросив взгляд на семейство Штейманов. Те назвались.

– Род занятий!

– Их бин шахшпилер... – негромко произнес Яков. – Я шахматист.

Брови немца удивленно приподнялись. Он бросил заинтересованный взгляд на Штеймана и переспросил:

– Шахшпилер? Ты зарабатывал игрой?

– Да... – подтвердил Яша.

Немец как-то странно засмеялся, потом повернулся вглубь конторки и быстро оповестил коллег о таком необычном еврее. Те в ответ заржали, скользя взглядами по Штейманам.

– Ну ладно, шпилер, вот вам желтые номера и звезды! Носить не снимая! Читайте объявления нашей комендатуры. За неисполнение, неповиновение – расстрел! Следующий!

На какое-то время оккупанты словно забыли о них. Сонное забытье царило в Познани, когда как немцы взяли Варшаву после двухнедельных боев и по слухам, устроили там для евреев гетто. Яков и Гита несколько раз навещали родителей на хуторе, оставляли там девочек, но, согласно приказу комендатуры, возвращались в свою квартиру. Вдвоем поддерживали вялую торговлю в лавке, моля Всевышнего о скором прекращении всего этого кошмара.

В 1940-м прозвучали первые зловещие ноты. Евреев стали вывозить из города, по слухам, куда-то в район Люблина. Никто толком не знал, почему именно туда, потому что те, кого забрали, не вернулись. Это потом выяснилось, что немцы устроили там лагерь смерти Майда-нек, где убили огромное количество людей.

– Может нам надо бежать? – тихо спрашивала ночью жена, прижимаясь плечом к Якову.

– Куда, куда мы побежим? – шептал Штейман. – Если нагрянут на хутор? И нас сразу расстреляют, за нарушение приказа коменданта Познани.

– Что же – остается только ждать? А вдруг и нас немцы заберут? Я слышала сегодня, что уже кого-то в Германию увезли... на работы.

– Ничего не остается, Гита. Видно такая судьба у нас, евреев... Вечно гонят, всегда клянут... Спи...

Беда пришла неожиданно.

В конце лета 1941-го в Познань нагрянули эсэсовцы. Уже всю гуляли слухи о стремительном броске вермахта на Восток. Некоторые поляки и евреи уверяли, что уже взяты Москва, Петербург и Киев.

– Таки скоро война закончится! – с возбужденным блеском в глазах сообщал сосед Яши, старый еврей Лёва Шмульсон. – Немецкая армия сильна как никогда! И у нас будет долгое спокойствие! Кому мы нужны, бедные польские евреи?

На следующий день эсэсовцы выгонят старого Лёву из квартиры и убьют. Тот на свою беду станет лопотать что-то восхищенное про фюрера, но перепутает в волнении слова и по смыслу оскорбит Адольфа. Эсэсовский офицер хладнокровно вытащит «Вальтер» и выстрелит два раза в седую голову Шмульсона. Гиту и Яшу заставят залезть в грузовик, вместе с другими евреями квартала, отвезут на вокзал.

Там, в давке, пыли, неразберихе они потеряют друг друга. Штеймана затолкают в последний вагон состава, где он с трудом найдет свободное место, осторожно растолкав спящего мужчину крепкого телосложения, но в такой грязной и оборванной одежде, что его с первого взгляда можно было принять за нищего.

– Подвинься, пан, проше... – Яков прикоснулся к плечу здоровяка. Тот открыл глаза, взглянул на Штеймана, подобрал ноги.

– Садись. По очереди будем спать. Или бодрствовать. Если доедем, конечно...

И протянул мозолистую ладонь:

– Иван Соколов!

– Яков. Штейман...

...Они растерянно оглядывались по сторонам... Mauthausen! Вот куда судьба забросила! Что здесь? Зачем они здесь? И надолго ли? Вдали мелькнула синь реки.

– Что это? Озеро? – спросил Соколов.

– Нет, похоже на Дунай... – ответил Штейман. Он хорошо знал географию и примерно представлял, куда их привезли. Яша вытягивал голову, выглядывал свою любимую Гиту. Но слишком много людей. Не найти. Он, было, пошел вдоль состава, но тут же был остановлен охранником. Раздалась команда:

– Строиться! В колонну по четыре! В затылок, свиньи!

Люди засуетились. Через каждые десять метров вдоль перрона стояли солдаты с засученными рукавами, некоторые держали на поводке грозных овчарок. Шум. Лай. Ругань. Раскаты глаза будущих узников.

Их погнали пешком, прочь от вокзала. Несколько тысяч человек. Впереди шли мужчины, сзади, судя по плачу и крикам, тащились женщины с детьми. Яков поминутно вытирал рукавом струящийся со лба пот, рубашка взмокла, под мышками щипало, пыль от ног идущих впереди залетала в горло, оседала на одежде, превращая ее в ужасное рубище.

Они прошли четыре километра и остановились перед огромными воротами. Прямо по центру их, на каменной стене был водружен огромный орел, немецкая свастика гигантских размеров. Под ней – большой человеческий череп и еще ниже надпись: «Arbeit macht frei».

– Работа делает свободным... – перевел Штейман и как-то радостно, по-детски улыбнулся. Повернулся к Соколову и с жаром прошептал:

– Немцы никогда просто так не бросают слов на ветер! Поверьте мне, я столько лет жил с ними вместе!

– Поживем – увидим! – бросил Иван, внимательно разглядывая укрепления лагеря.

«Да... здесь не убежишь... сколько колючей проволоки наверху, и наверняка под током. Неужели здесь и умру? Не хотелось бы...»

Слева от ворот высилась круглая башня с окошками-бойницами, справа квадратная, в два раза больше, с пулеметчиком наверху.

Толпу загнали вовнутрь лагеря. Прошли через аппельплатц, где будут проходить бесчисленные построения, с обеих сторон стояли длинными рядами деревянные бараки зеленого цвета. Узников вывели на большую площадку, с трех сторон огороженную кирпичными стенами зданий.

– Всем раздеваться! – прозвучала команда.

Люди зашевелились, стали переминаться с ноги на ногу, глядя друг на друга.

– Шнеллер! Быстрее! – заорал толстый эсэсовец с побагровевшим от злости лицом. Видя, что люди неохотно подчиняются приказу, сдернул с плеча солдата охранника «Шмайсер», забрался по лестнице вверх, и оттуда саданул очередь в толпу. Несколько человек упали. Толпа с криком отпрянула назад. Люди стали лихорадочно стаскивать с себя одежду. Через минуту все стояли голые, опустив руки вниз, закрывая ими интимное место. Яков Штейман был в ужасе – он физически почувствовал, как пуля прошла в сантиметрах от его головы. Эсэсовец спустился вниз, вытаскивая на ходу парабеллум. Несколько сухих выстрелов. Стоны раненых прекратились.

Люди стояли голыми несколько часов. Охранники по очереди заводили группы в здание, откуда несло влажность.

Баня.

Штейман старался держаться рядом с Соколовым. Они помылись едва теплой водой, струящейся из металлического соска над головой, мыло, что им выдали на несколько человек, отвратительно пахло дустом. На выходе из предбанника всем выдавали робы. Желтоватого цвета с темно-синими продольными полосами. На левом кармане, у сердца – номер. Четырехугольная шапочка, такой же расцветки. Деревянные ботинки.

Затем узники выстаивали очередь к парикмахерам. Те особенно не церемонились с выбором стрижки – у каждого по центру головы машинкой выстригали полосу от лба до затылка. Иван скрипнул зубами, сжал кисти между собой, когда доходяга-еврей, наверняка бывший парикмахер, пробуравил железными зубчиками жесткие волосы поморца. Виновато улыбнувшись, мастер стрижки проговорил с сильным акцентом:

– Ничего не поделаешь, приказ...

И указал стоявшему за Соколовым Штейману на свободную табуретку. Якова била мелкая дрожь, как будто он побывал голым и мокрым на морозе. Это нервная система не выдер-

жала такой нагрузки, выпавшей за последние несколько дней. Рядом бродила Смерть, её запахом был заполнен каждый угол, каждый квадратный метр, каждый предмет. Штейман как будто попал в совершенно другой мир, мысли о Гите разрывали его сердце пополам. Единственным утешением была надежда, что их девочки спасутся от такого ужаса в лесном хуторе.

Соколов, заметив в глазах еврея панику, взял его за локоть и тихо сказал:

– Постарайся успокоиться. Они убивают сразу, если видят, что человек не может работать.

Слова Ивана подействовали. Яков закрыл глаза, повторяя про себя: «Держаться... держаться... держаться...»

Узников выстроили на апельсплатц и распределили по баракам. Особо не затруднялись. Длинная шеренга в два человека, а сзади нее – кто как стоял, в тот барак и угодил. Это потом стали отбирать смертников – в самый страшный блок номер 20. Там была как бы внутренняя тюрьма. Посылали за провинности, и никто не возвращался оттуда живым.

Соколов и Штейман попали в блок номер 3.

– Зайти и занять спальные места! – прозвучала команда эсэсовца.

Люди торопливо разбирались, кто где будет спать. Трехъярусные нары, с матрацами, набитыми стружками. Иван успел проскользнуть в угол, подальше от параши, и занял два верхних места. Для себя и Якова. Тот замешкался, шахматиста затолкали, и он едва разыскал нового товарища. Когда заключенные заняли свои места на нарах, и немцы убедились, что свободных матрацев нет, всех снова выгнали на апельсплатц.

Белобрысый эсэсовец представил старосту барака – капо, тот выбрал себе помощников – блокэльстера и двух штурбэльстеров (старших по половине блока). Капо звали Тарасом, по изношению тот явно смахивал на западного украинца. Невысокого роста, коренастый, мощные руки с большими кулаками. Из-под густых бровей выглядывали буравчиками маленькие глазки, пшеничные усы загибались и свисали книзу, заходя дальше уголков рта.

Офицер отошел в сторону. Капо медленно обходил строй, внимательно вглядываясь в лица новичков.

– Потренируемся в таком важном деле, как снятие шапок! – громко объявил он. – Вы, свиньи, должны делать это за десять метров, если к вам приближается господин офицер! И делать мгновенно и красиво! Вот так! Дай!

Он резким движением стащил полосатую шапку у стоявшего рядом с Яковым рябого мужика.

– Мютцен аб! Шапки долой!!

Люди сняли головные уборы. Вразной.

– Отставить!! – заорал капо. – Плохо!!

Он вытащил из-за пояса плетку и ударил первого попавшегося под руку.

– Снова!! Мютцен аб!

Лес рук взметнулся и опустился с квадратами вниз.

– Мютцен ауф!! Шапки надеть!!

Снова разной. И снова ругань и плетка.

– Лечь!! – заорал Тарас.

Иван быстро рухнул вниз на вытянутые руки. Яков замешкался, и через мгновение увидел рядом налитые ненавистью маленькие глазки капо. Свист плетки. Боль!!

– Я тебя научу, жидовская морда, порядку!! Встать! Имя!!?

– Яков...

Снова удар.

– Как положено представляться??

– Номер пять тысяч третий!

– Лечь!!

Спустя час замученных первой муштрой людей отвели в помещение столовой. Распределили по столам, назначили старших, установили очередь дежурств. Двое дежурных (их называли штубенистами) раздали миски, ложки, потом поднесли термос с баландой.

– Я так голоден, что сейчас съем всё, даже вареные сапоги... – нервно хохотнул Штейман. Он никак не мог успокоиться, все вспоминал свист пули около уха, и её чмокающий звук сзади, разорвавший чью-то плоть.

– Я примерно так же голоден, но уж лучше глотать эту бурду, чем сапоги, – ответил Соколов.

Штубенисты разливали баланду. Темно-бурая жидкость, с добавлением брюквы. Единственный плюс – она была теплая. Голодные заключенные заработали ложками. Потом в металлические кружки плеснули эрзац-кофе.

– Какая-никакая, но еда... – пробормотал пожилой тучный человек, с седыми висками, сидевший слева от Штеймана. – Раньше я такое даже своим собакам не мог предложить, а теперь...

Он сокрушенно покачал головой. Встал из-за стола, Соколов проводил его взглядом и тихо шепнул Якову:

– Могу поспорить, что это бывший военный...

– Почему ты так думаешь? – удивился Штейман.

– По выправке видно.

Он оказался прав. Седого звали Вацлав, он был генералом чешской армии. Спустя три дня чех подружился с Иваном и Яковом. Оказалось, что он не раз приезжал в СССР, по обмену военным опытом, на маневры. Потом Вацлав перебрался в барак поближе к ним, поменявшись местами с молчаливым украинцем по имени Микола.

– Ну, теперь будет повеселее! – генерал широко улыбнулся. – А то на моем ярусе рядом одни венгры, их язык я не понимаю!

Он говорил по-русски, хоть и сильно коверкая слова, но вполне понятно. Яков Штейман тоже неплохо знал русский. Несколько раз бывал в Советском Союзе на турнирах, где с 1925 года царил шахматный бум. Покупал сборники партий советских гроссмейстеров, читал комментарии. Так и научился незаметно.

Трое новых друзей не обратили внимания, как резанул взглядом в сторону генерала ухививший Микола.

Спустя два дня чеха убили.

Капо вместе с уголовниками из соседнего барака бросили Вацлава на землю и стали бить железными прутьями до тех пор, пока изо рта генерала не показалась кровавая пена.

– Зубодер! – громко крикнул Тарас.

Из угла вынырнул украинец, бывший сосед Якова и Ивана. Он присел на колени перед еще теплым телом генерала, вытащил из кармана щипцы. Точно такие Яков видел в Познани, у соседского еврея, стоматолога Миши. Микола раскрыл рот чеху и сноровисто заработал щипцами. Спустя две минуты на полу валялись золотые коронки.

– Обработаешь, потом доставишь куда надо! – бросил капо земляку, повернулся и вышел из барака. Микола собрал коронки, засунул их в карман, поспешил за старостой. В спину ему смотрели десятки глаз.

С ненавистью.

Руководство Маутхаузена применяло давно известный психологический прием, который разъединял людей, не давал им сплотиться. Они выделяли каких-то узников, делали им поблажки, потом давали власть над остальными. При этом требовали под угрозой смертной казни безусловного повиновения им. В жаргонном лагерном языке быстро появился термин

«Видные деятели». Так окрестили вот таких людей, служивших инструментом в деле так называемого «самоуправления арестанта». После того, как Миколу «повязали» кровью генерала, он и стал тем самым «видным деятелем».

Потекли однообразные, тягуче-тяжелые дни и ночи. Люди постепенно превращались в роботов, внутри которых билась одна единственная мысль: «Выжить в этом кошмаре!»

Удары колокола будили лагерь в 4.45 утра. Туалет, заправка постелей. Бегом на аппельплатц. Построение. Потом завтрак и развод на работы в 6.30. В 16.45 – узники разгибали спины и до отбоя в 21.30 должны были поужинать, построиться на вечернюю проверку. Часа три в этом промежутке – свободное время. Здесь разворачивал свою деятельность так называемый черный рынок. заключенные меняли табак на хлеб, кто-то из счастливых, кому разрешали получать передачи, пытались выторговать на продукты хорошую обувь.

Зимой график сдвигался на час позже. Иногда весь лагерь по неведомому приказу оставался на плацу от завтрака до ужина, на работу не гнали, но и отдыхать в бараках не давали. Люди сбивались в кучки, чтобы согреться телами и так простаивали весь день.

Барак номер три через раз бросали на так называемый «Венский котлован». Здесь заключенными рылись огромные ямы для закладки фундамента под будущие цеха. Рядом мучились штрафники из 20-го блока, человек 800. Им доставалась самая тяжелая работа. По лестнице смерти в 186 ступеней они тащили вверх каменные бруски для строительства завода. Надзиратели следили, чтобы штрафники брали самые тяжелые камни, и шли вверх, согнувшись в три погибели. Все 186 ступеней были обогреты кровью, здесь каждый день погибали десятки людей. Немцы убивали за то, что взял слишком легкий блок, за то, что очень медленно поднимался, за то, что слишком долго отдыхал на ровной площадке после того, как принес камень. Рядом с лестницей, справа – был крутой обрыв, гранитные скалы уходили вниз под прямым углом. Эсэсовцы развлекались тем, что сталкивали узников, которых каждый раз именовали перед смертью – «парашютистами». Тех, кто не убился насмерть сразу, а в муках корчился на острых скалах внизу, пристреливали сверху из автоматов. Слева от ступенек тянулась колючая проволока под напряжением. Для разнообразия толкали и туда, чтобы с улыбкой наблюдать, как человек трясется в предсмертных муках...

Яков Штейман начал уже было засыпать, как почувствовал легкий толчок в плечо. Он открыл глаза и приподнялся. В полумраке и спросонья не сразу понял, откуда его потревожили.

— Яш-ша, не спишь? – свистящий шепот сверху заставил Штеймана поднять голову. С верхней полки на него смотрел австрийский чех Ганс Бонаревиц. Он теперь спал на месте соплеменника Вацлава.

За койку погибшего генерала подрались несколько заключенных. Едва его тело поволокли в крематорий, как из угла, где стояла бочка с парашей, к койке бросились тени в полосатых робах. Первым вверх забрался поляк Збигнев Крушина, но тут же в его ноги вцепился венгр по имени Ласло, резко дернул вниз. Треск разрываемой робы пронесся по всему бараку номер три.

– Ах, ты, ссука! Получай! – поляк изо всех сил ударил противника кулаком в лицо. Венгр отлетел назад, упав на лежащего на противоположной койке француза Паскаля. Тот от неожиданности громко закричал. Ласло сумел подняться, увернувшись от удара уже изготовившегося в боксерской стойке Збигнева. Француз, ошалевший от боли, тоже вскочил и принял участие в побоище. На стороне венгра. Тут же к поляку присоединился его земляк, Кшыштов Михайльский.

– Прекратите! – закричал Соколов, резко привстал на койке, свесил ноги вниз. – Сейчас капо примчится, и беды не оберетесь! Хватит драться, остыньте!

Так и получилось.

Спустя две минуты после начала драки раздался тонкий свист плетки.

– Смирна! Стоять!! – заорал Тарас, староста барака. – Микола, кто тут был зачинщиком?

Дерущиеся остановились, тяжело дыша. По лицам всех четырех обильно текла кровь. Зубодер выглянул из-за спины капо, тяжелым взглядом окинул драчунов, потом зловеще прищурился.

«Он. Вспоминаю твою рожу, французишка! И ты меня наверняка узнал. Вижу... вижу, что припомнил тот момент, когда не захотел мне отдать кусок хлеба. Не сожрал сам, я попросил, как человека... а ты, лягушатник, зажал! Ага, испугался, шевелишь кадыком, в горле от страха пересохло!»

И Микола ткнул пальцем в Паскаля:

– Он!

Капо взмахнул плеткой, наотмашь ударив заключенного по шее. Тот закричал от боли, схватился обеими ладонями за больное место.

– В 20-й его, быстро! – приказал капо.

Подручные, из бывших уголовников, носившие на робах зеленые повязки, схватили француза под руки и потащили в штрафной барак. Участь его была решена.

– За что дрались? – спросил капо, обернувшись к ближайшему узнику.

– За место... – тот кивнул головой вверх.

Тарас посмотрел туда и ухмыльнулся. На месте генерала уже лежал Бонаревиц. В бараке наступила тишина. Капо помолчал, словно решая про себя какую-то задачу, потом взглянул на окровавленных поляков и венгра, медленно направился к выходу.

– Не сплю... – тихо ответил Штейман. – А что?

– Хотел поговорить с тобой, – чех нагнулся к голове Якова. – Как считаешь, нас тут всех укокошат, или кто-то выживет?

– Не знаю, – коротко ответил тот.

– А я знаю! – трагическим шепотом с истерическими нотами проговорил Ганс. – Все вылетим в трубу крематория, как пить дать! Даже капо типа нашего Тараса не пощадят. У немцев приказ, лагерь третьей категории и никто отсюда не должен уйти живым.

– Смотря как война закончится, – буркнул Штейман. Его стал раздражать вертлявый чех, который явно не просто так затеял разговор.

– Слушай, Яша, тебе как на духу хочу открыться! – зашептал Бонаревиц. – Я буду пробовать бежать!

Штейман от неожиданности чуть не упал со своей койки. Он вздрогнул и испуганно повертел головой по сторонам.

– Тихо ты! Это невозможно...

– Не бойся, все спят. Возможно! Я всё продумал! – чех едва не касался губами правого уха соседа. – Я уже месяц назад мог бежать, но не решился.

– Как? Везде же часовые и колючая проволока!

– Ерунда. Надо всё с умом делать! Ты знаешь, что меня и еще девять человек поставили работать возле крематория. Мы грузим шлак в большие деревянные ящики, потом заталкиваем их на грузовик.

– Ну, знаю... И что?

– Так вот. Мы договорились, что я лягу на дно ящика, меня забросают шлаком, но не очень сильно, чтобы мог дышать.

– Это безумие! Там же часовой стоит наверняка! Смотрит за погрузкой.

– Раньше стоял... – радостно зашептал чех. – А сейчас его нет. Понял? И те, кто в лесу разгружает ящики в большую яму, сказали, что там можно незаметно спрятаться в зарослях. Завтра вечером загружаем, когда вы ужинаете. Ты можешь подойти к нам, в случае чего скажешь, что послали помочь. Понял?

Бонаревиц пришел в сильное возбуждение. Его пальцы заметно дрожали, в глазах мелькали сумасшедшие огоньки.

– К чему ты мне это рассказываешь, Ганс? – недоуменно спросил Яков.

– Пойдем вместе, а? Тебя, еврея, все равно убьют, даю голову на отсечение! А здесь хоть какой, да шанс есть! И еще – на миру и смерть красна, как говорит твой друг Соколов.

Чех не подозревал, что Иван давно уже не спит, внимательно вслушиваясь в шепоток соседей.

– Это авантюра, верная смерть, Ганс... – слова чеха тоже взволновали Штеймана. На какой-то миг в душе возникло желание рискнуть, но спустя секунды перед ним встало лицо жены, Гиты.

– Нет, прости, я не могу. Я должен... прости, но я...

– Что?

– У меня здесь жена. Я должен её увидеть хотя бы раз... – прошептал Яков и сглотнул, чувствуя приближение слез.

– Ладно, ты подумай до утра. Может, решишься?

– Нет, я не могу.

– Как хочешь. Те, что работают со мной, тоже против. Лишь один земляк из Кладно готов помочь, закидает шлаком. А там посмотрим. Быть может, дева Мария не оставит меня... Спим!

Утром после развода и завтрака, улучшив свободную минуту, Соколов тихо спросил Якова:

– Что, на побег подбивал?

– Да...

– Правильно, что не согласился. Безнадежное дело. Даже если убежит в лес, куда он дальше пойдет? Везде австрияки, до Чехии далеко. Поймают, как пить дать!

Но Бонаревиц на самом деле сбежал. На долгие восемнадцать дней.

В лагере поднялся страшный переполох, когда на вечерней поверке обнаружилась пропажа узника номер 19061. Эсэсовец с размаху заехал кулаком в лицо Тарасу. Украинский капо, обливаясь кровью, тяжело упал перед строем. Все девять человек, работавшие вместе с чехом на загрузке шлака, на следующее утро были расстреляны. К счастью, эсэсовцы на этом остановились. Каждый следующий день, не приносящий никаких вестей о поимке смелого чеха, приносил тайную радость узникам. Яков уже начал жалеть, что не решился на побег, как на 19-й день по Маутхаузену стремительно разнеслась весть: Бонаревица поймали! Уже в полусотне километров от лагеря он нарвался на патруль и не смог убежать.

Срочно было объявлено всеобщее построение. На аппельплатц ввели Ганса. Вид его был ужасен. Растрепанные грязные волосы, безумные глаза, разбитые губы шептали какие-то слова. Он едва ковылял, сильно прихрамывая на правую ногу. Старостам каждого барака немцы выдали по странному шлангу, напоминающему огромный половой член. В строю зашептались: «Будут бить быком...»

Яков с недоумением обернулся на Соколова. Тот кивнул и едва слышно проговорил:

– Да, это специально обработанный бычий член. Лупит посильнее любой плетки и больнее дубинки.

Два «видных деятеля» тащили под мышки беглеца, а старосты по разу били бычьим шлангом. С каждым ударом Ганс громко и жалобно вскрикивал, все ниже опускал голову. Все думали, что его тотчас расстреляют или повесят перед строем. Но нет. Чеха оставили жить

еще на неделю. И каждое утро возили на небольшой коляске, привязанного за руки к бортам. На груди болталась табличка: «Нунга, я существую снова!», и еще одна, в районе колен: «Почему блуждаю вдаль, если имущество все же так близко?»

За коляской с беглецом следовал музыкальный оркестр из заключенных, наявивший самые веселые марши. Особенно часто музыканты играли популярный довоенный шлягер под названием «Я снова возвращаю моего любимого».

Это было необычно, и даже интересно в первый день. Но невыносимо на пятый, шестой и седьмой. Соколов опускал голову, пряча взгляд, полный ненависти, сжимал кулаки. Штейман тоже старался не смотреть. Изуродованное тело чеха, в котором каким-то чудом теплилась жизнь, сильно пахло испражнениями. Наконец, спустя неделю после поимки, беглеца торжественно повесили.

«Мать Божья... ты жалилась надо мною... спасибо...» – слабо шевельнулось в голове чеха, он поднял глаза, встретился взглядом с Яковом и – улыбнулся! Он теперь – свободен! Хотя бы от этих мук, а что там за занавесом Смерти – станет надеяться на лучшее!

Штейману стало плохо, когда голова Ганса задержалась в конвульсиях, перекосило рот и закатились глаза. Оркестр оборвал веселую мелодию. На апельсплатц воцарилась мертвая тишина...

От группы эсэсовцев, наблюдавших за казнью, отделился офицер. Это был комендант лагеря Маутхаузен штандартенфюрер СС Франц Цирайс. Среднего роста, плотный, короткая стрижка. Его лицо, обычно не выражающее никаких эмоций, сейчас излучало решимость, губы были плотно сжаты, глаза прищурены. Хозяин тысяч жизней медленно прошелся вдоль строя. Вправо от виселицы. Пятьдесят метров. Повернулся. Еще влево. Сто метров вдоль строя. Его колючие глаза ледяными снежинками врезались в души несчастных. Как будто люди чувствовали ветер от взмаха косы проклятой, костлявой... Все покорно опустили глаза вниз, ожидая неминуемого приношения ей новой дани.

Но Цирайс молчал. Потом, повернувшись к своим помощникам, коротко отдал какой-то приказ. И тотчас над апельсплатцем проревел голос быкоподобного Отто Бахмайера, заместителя Цирайса, начальника отдела безопасности Маутхаузена:

– Всем баракам! В колонну по одному! Пройти под этой чешской свиньей! (он указал на тело Бонаревица), коснувшись своим рылом его ног! Ферштейн?! Поняли?! За уклонение в сторону – расстрел! На месте – шагом марш! Первый барак – форверст! Вперед!

Тысячи пар глаз в эту секунду были обращены на грязные, в кровоподтеках и гное, с вырванными ногтями ноги беглеца. Они как раз находились на уровне лиц многих людей. И колонна медленно пошла. И не было ни одного человека, который бы уклонился от страшных, зловонных ступней Бонаревица.

Все хотели жить.

Сара Штейн

...«Пошла прочь, сучка... Пошла прочь, сучка... Пошла прочь, сучка!» – звенело в голове девушки одновременно с жалобной капитуляцией стекол ювелирного магазина отца. Она стояла, прижав обе руки к груди, не могла пошевелиться, словно застыла каменной статуей, глядя на ужас, творившийся рядом. Она не верила своим глазам. Ей хотелось закричать на весь мир, что всё это – привиделось! Что слова, слетевшие с губ вот этого молодого человека в военной форме – не его слова, а чьи-то чужие, из кошмарного сна, из небытия!

Курт, её Курт, что когда-то клялся в вечной любви, осыпал её лицо тысячами поцелуев, сейчас с остервенелой физиономией хватает золотые цепочки и браслеты с витрины их ювелирного магазина! Что десятилетиями создавался её дедом, а потом сохранялся всей семьей! Как в замедленной съемке, перед глазами девушки проплывали сцены унижения отца, потом ярость старшего Вебера, его тяжелое падение на мостовую Фридрихштрассе; издевательства юнцов со свастикой на рукавах, похотливые взгляды этих парней, отчаянный крик Эммы, матери Курта, её мольбы не трогать мужчин, таракание мотора машины, суетливые движения подчиненных бывшего ухажера, с трудом запихнувших грузные тела Герхарда и Исая. И удаляющуюся спину объекта её тайных девичьих грез...

Она еще долго бы стояла на ступеньках подъезда, но когда шум и крики стихли, вышедшая из квартиры заплаканная мать взяла её за руку и почти силой потянула домой:

– Идем, моя Сарочка, идем моя милая... идем... – она внимательно заглядывала в глаза дочери. – Не переживай ты так из-за Вебера, я тебе сколько раз говорила, что он не пара тебе, и никогда не должен стать твоим мужем, сто раз говорила... а ты меня не слушала, глупая. Ничего, всё образуется, вот увидишь!

Внутри девушки слабо вспыхнуло и медленно погасло привычное возмущение. Мать часто произносила эти обидные слова. Сара Штейн была унижена и разбита.

Но беда не приходит одна.

Едва кончилась «хрустальная ночь», как мать и дочь вместе отправились на поиска Исая Штейна. Сначала они зашли в полицейский участок. Но сидевший за столом офицер, выслушав сбивчивую речь евреек, лишь равнодушно зевнул и отмахнулся:

– Не знаю никакого Исая! Ищите в другом месте.

– Где искать, подскажите, пожалуйста! – дрожащим голосом спросила Дора Штейн.

– Пошла прочь, жидовка!! Пока я тебя в карцер не посадил!! – вдруг заорал немец и подскочил, словно ужаленный. Цвет его лица стал похож на повязку со свастикой. У Доры задрожали губы. Она молча повернулась и медленно пошла на выход. Кожа лица – как мел. На ступеньках женщина покачнулась и упала бы вниз, не подхвати её Сара под локоть.

– За что? За что? – тихо прошептала Дора, села на грязную ступеньку, и, закрыв лицо ладонями, тихо заплакала.

Они так и не нашли своего отца и мужа. Зловещий 1938-й подходил к завершению. Над Германием пронесся вихрь тайных арестов. Люди пропадали без вести, и лишь немногим удавалось обнаружить своих близких. По стране ходили слухи о каких-то концлагерях на юге Германии и в горах Австрии, где всплывали сведения об исчезнувших. Шепотом произносились названия «Дахау», «Бухенвальд», «Заксенхаузен».

А тем временем власти законодательным образом начали пресовать еврейское население. 16 ноября 1938 года дети соседей Штейнов, девочки-близнецы Гольдберги вернулись утром из школы с заплаканными глазами.

– Что случилось? Почему так рано? – удивилась их мать, Бэла.

– Нас не пустили в класс! – угрюмо произнесла одна из девочек. – Сказали, что вчера фюрер принял закон, запрещающий еврейским детям учиться в школе.

Весть мгновенно разнеслась по дому.

Но это было только начало.

28 ноября 1938 года еврейское население Германии ждал новый удар. Вышел новый закон об ограничении жилой площади на лиц данной национальности. Тех, кто имел несчастье иметь большее количество квадратных метров, чем положено по этому закону, ждало неминуемое выселение из домов и квартир.

Все замерли в тревожном ожидании.

1 декабря возле дома, где жили Штейны, снова зацокали по булыжной мостовой подкованные железом сапоги штурмовиков. Сара выглянула в окно. Взвод под командованием Курта! Он прекрасно знал, у кого в доме много комнат и «излишков» жилой площади! Сердце девушки забилось вдвое быстрее обычного.

«Неужели Курт дойдет до такой низости? Вот он, красавец мужчина, в начищенных до блеска сапогах, неторопливо дает команды своим солдатам. Грузовики сзади штурмовиков! Зачем? Грузить вещи несчастных людей? И везти их? Куда? Неужели и нас с мамой?»

В эту секунду Курт поднял голову и увидел в окне побледневшее лицо Сары. Он чуть вздрогнул и нахмурился. Девушка не отводила пристального взгляда. Они с минуту смотрели друг другу в глаза. Наконец, ефрейтор повернул голову в сторону застывшего в ожидании команд отряда.

– Квартиры номер 4, 9, 12, 13! Очистить от жидов, мебели и разного барахла! В случае сопротивления стрелять на поражение! Выполнять!

Это был незабываемый кошмар.

Сара вспоминала его обрывками. И каждый раз, когда перед лицом вставало окровавленное лицо её матери, вздрагивала, вытирала ладонью непроизвольно катившиеся по щекам слезы.

Первыми жертвами штурмовой группы стали Гольдберги. Из окон вылетали горшочки с цветами, что годами заботливо выращивала Бэла; кряхтя от натуги, солдаты выволакивали шкафы, кровати, столы. Девочки-близняшки беспрерывно кричали.

Перед подъездом с каменным лицом стоял Курт Вебер и не решался поднять голову. Он чувствовал, что Сара не отводит взгляда, ему хотелось выхватить из кобуры парабеллум и разрядить его в бледный силуэт лица бывшей возлюбленной, резко выделявшийся на фоне красивых вьющихся черных волос.

Настал черед семьи Штейнов.

Дора, слабая, худенькая, немощная женщина, Дора – «доходяга», как звали её за глаза жители дома, вдруг оказала грабителям сильнейшее сопротивление! Как будто силы удесятились! Она знала, что за ней стоит правда, справедливость, и желание мести за пропавшего без вести мужа влило в её сухонькое тело невиданную энергию. Едва лапы штурмовика коснулись неподвижно стоящей у окна Сары, как тот был отброшен в сторону.

– Шайзе! – выругался Карл Мюллер, ударившись затылком о деревянную ручку кресла. – Убью, жидовка!!

Налетевшие два солдата через пару секунд отскочили в сторону, с остервенением мотая укушенными кистями. Вид хозяйки квартиры был ужасен. Растрепанные волосы, ненависть и ярость в глазах полыхали с такой силой, что, казалось, могли расплавить стены.

– Мама, мама! Сзади!! – закричала Сара.

Поздно.

Бугай в темно-зеленой форме опустил на голову Доры Штейн тяжелый стул. Тупой звук удара. По лицу женщины стремительно побежали струйки крови. Она тяжело вздохнула, закрыла глаза и упала на пол. Не обращая внимания на суматоху, Сара взвалила маму на правое плечо (откуда только силы взялись!) и выволокла ее на улицу. Аккуратно уложила на тротуар, подоткнув под голову свою куртку. Курта Вебера рядом с подъездом не было. Девушка оглянулась, лихорадочно ища хоть кого-нибудь, кто смог бы помочь.

– Такси! – закричала она, увидев машину с характерной надписью. Видя, что шофер не собирается останавливаться, выбежала на мостовую, перекрыв дорогу автомобилю. Резко закрипели тормоза, но все-таки бампер ткнулся в ноги девушки. Сара отпрянула назад, сморщилась от боли, устояла.

– Ты с ума сошла! – заорал пожилой водитель, высунувшись из кабины. – Идиотка!!

– Стоять!! Моей матери плохо!! – Сара мгновенно наклонилась и, преодолевая боль, затащила тело матери на заднее сиденье. Дора была без сознания.

– В госпиталь! Быстро!! – закричала девушка. Шофер с искаженным лицом рванул с места.

В приемном покое Дору Штейн держали четыре часа. Врач, еврей, пряча глаза, разводя руками, бормотал что-то о том, что все палаты забиты больными. На пятом часу мать Сары умерла.

– Мы ничего всё равно не могли поделать... – растерянно шептал соплеменник, когда девушка с каменным лицом стояла над телом мамы. – Без всякого вмешательства видно, что у неё произошло кровоизлияние в мозг... Простите меня, я сам хожу по краешку.

Он заискивающе, подобострастно заглядывал в лицо Саре. Но та не видела ничего. Её слезы заливали весь мир вокруг.

Когда она приехала домой, то дверь их квартиры была заперта и опечатана. Ключ не подходил – замок уже успели поменять. Девушка с удивлением дергала ручку, словно не веря в случившееся. В Берлине ей идти было некуда. Она устало присела на ступеньки, прислонилась плечом к стене и закрыла глаза. В голове шумело, кровь толчками била в виски, пальцы противно дрожали уже несколько часов подряд. Ей хотелось умереть в эту минуту, здесь, прямо у родного порога, но видимо, Судьба еще не удовлетворила своего непонятого мщения в адрес девушки.

Сара не помнила, сколько часов просидела на лестнице. Мимо проходили соседи с верхнего этажа, опасно косились на еврейку, молчали. Лишь к вечеру она почувствовала прикосновение ласковой руки. Сара вздрогнула и подняла голову.

Мать Курта Вебера. Эмма.

– Пойдем ко мне, девочка... – тихо прошептала женщина. – Переночуешь пока, а там видно будет.

– А как же ваш сын?

– Он не приходит в последнее время. В казарме живет. Пойдем, не бойся...

Она накормила бывшую соседку. Разговаривали мало. Эмма испытывала угрызения совести, думая, что как мать Курта, она косвенно замешана в трагедии Штейнов. Никогда в жизни она не думала, что её сын способен на такую жестокость. Вестей от мужа Герхарда не было. Эмма постарела, словно прожила не один 38-й год, а минимум два десятка лет.

Сара механически жевала бутерброд с сыром, делая маленькие глоточки из стакана с чаем, и смотрела вниз, в одну точку. Она как будто уже жила в другом мире, параллельном бывшему, что обрушился так быстро, так страшно, с такой непонятной жестокостью. Картинки реальности заслоняли два видения: лица матери – сначала со струйкой крови по щеке, затем

белое, безжизненное, с холодной кожей и застывшими навечно родными глазами, там, в приемном покое госпиталя.

– Приляг, Сарочка, я тебе постелила... там... – Эмма показала рукой на дверь комнаты Курта.

Девушка подняла глаза, кивнула головой и, встав из-за стола, медленно побрела к кровати. Во сне она кричала, металась, несколько раз Эмма вскакивала со своей постели, прибежала в комнату сына и сквозь слезы успокаивала Сару.

Следующие несколько дней прошли в заботах о мертвой матери. Сара обошла весь район в поисках хотя бы одной сохранившейся синагоги. Везде следы пожара, в лучшем случае замки на дверях. Наконец, она отыскала одну, едва подававшую признаки жизни. Три старика-еврея, ютившиеся там, помогли перевезти тело Доры в крематорий и выполнить все обряды, связанные с похоронами.

Урна с прахом матери была закопана на еврейском кладбище, в самом его отдаленном уголке. Свежие следы погромов царили всюду – разбитые надгробья, поломанные решетки, и даже в одном месте – воронка от взрыва возле стены с замурованными в них урнами.

– Оставайся у нас, Сара, живи... – тихо проговорила Эмма Вебер, когда увидела, что девушка собирает свои вещи в небольшой дорожный чемодан.

– Спасибо. Но мне пора в Кельн. Я сегодня вспомнила, что в университете уже неделю идут занятия, – на лице Сары впервые появилось что-то наподобие улыбки. – Боюсь, что меня там будут ругать за пропуски.

– А деньги на дорогу у тебя есть?

– Да, спасибо. Немного осталось от папы. Сдала в ломбард, мне хватит.

Сара порылась в сумочке, вытащила золотую цепочку, положила её на стол.

– Это вам за заботу. Спасибо, Эмма...

Спустя месяц, перед самым Новым годом Сара Штейн вернулась в Берлин. Вслед за школьниками пострадали и еврейские студенты. 8 декабря 1938 года был принят закон об их исключении из германских университетов.

Она медленно поднялась по деревянной лестнице, такой знакомой, где она знала каждую трещинку, помнила любой характерный скрип. Дверь их квартиры была заперта, но полоски белой бумаги исчезли.

Сара прислушалась.

Внутри раздавались громкие голоса. Новые жильцы, видимо, праздновали въезд в просторную квартиру ювелира. Девушка уже повернулась и пошла вниз, как в эту минуту дверь распахнулась, на лестничную площадку вывалилась туша молодого человека в зеленой форме.

– Сейчас принесу, потерпите! – весело выкрикнул он внутрь квартиры и загремел сапогами по лестнице.

Сара обернулась и вздрогнула.

Это же тот самый молодчик, что первым разбивал витрину магазина её отца! Карл Мюллер, как назвал его Курт. Тот, что ударил её маму!

– И не забудь пива к шнапсу! – из квартиры высунулось красное лицо пожилого мужчины. Фатер Карла, старший Мюллер, без сомнения.

«Значит, к нам вселилась семейка этого подонка...» – девушка сжала кулаки и отвернула голову, чтобы молодчик не узнал ее. В душу смерчем рванула жажда мести, будь в эту секунду в её руках оружие, она бы, не задумываясь, пустила его в ход. Она еще не знала, что спустя много времени у неё появится такой шанс. И она не упустит его.

Бугай промчался мимо, резанув взглядом по густым вьющимся волосам еврейки.

Спустя минуту Сара робко постучала к Веберам.

– Кто? – раздался за дверью голос Эммы.

– Это я, Сара... Можно?

Дверь скрипнула замком и открылась.

– Проходи, девочка, я уже по тебе соскучилась, – улыбнулась бывшая соседка.

Они пили чай и болтали как старые подруги, когда в дверь снова постучали. Эмма побледнела и бросила встревоженный взгляд на девушку. Она знала этот характерный стук. Ее глаза заметались по комнате в поисках укрытия для еврейки. Стук повторился, более настойчивый и громкий.

– Курт... – помертвевшими губами прошептала женщина.

– Открывайте, не бойтесь за меня, – спокойно произнесла Сара. Она встала из-за стола, выпрямилась, как-то вся подобралась, словно пантера перед прыжком. Эмма медленно пошла в коридор, чуть провозилась с внутренним замком. Звук открывающейся двери.

Курт Вебер

Я никогда не был особо сентиментальным. В последние месяцы душа моя огрубела еще более. Я бы сказал точнее – она закалилась. Дел для нас, настоящих мужчин, что служили Великой Германии – хватало. После похода в Чехию, эту славянскую дыру, где местные недочеловеки посмели притеснять настоящих арийцев, наступило небольшое безвременье. В смысле славных подвигов, что войдут в будущие учебники по истории.

Но мы не теряли времени даром.

Шесть дней в неделю прилежно занимались боевой подготовкой. Наша рота, которой командует итурмфюрер Отто Винцель, постигала премудрости уличного боя, мы отрабатывали поведение в экстремальных ситуациях, действия в ночных условиях. Однажды командир повез нас за город, куда-то на север, к большим озерам. Те покрылись тонким слоем льда после ночных ноябрьских морозов. И надо же – придумал испытание! По команде разделись до трусов. Нужно было нырнуть в одну прорубь, проплыть под водой метров десять, вынырнуть в другой проруби. Тут же на берегу нас ждала кружка чистого спирта с поджаренными баварскими колбасками. Превосходно!

Ребята в первый момент немного струсили, но практически все взяли себя в руки и выполнили приказ. Я нырнул пятым, вдохнув побольше воздуха. Тело кололи тысячи иголок холода, но что это для истинных арийцев, верных воинов фюрера!? Несколько энергичных гребков, и вот уже – светлое пятно спасительной проруби! Спирт обжог глотку, разлил тепло по всему телу. Мы быстро оделись, стояли на берегу и гоготали. Как прошедшие огонь и воду! Пару человек оплошали. Особенно тот хлюпик из Лейпцига, как его? А, да... Генрих Гойн. Его называли в роте – Гейне. Любит стишки этого рифмоплета. Слабак. Начал рано выныривать и стукнулся башкой о лед. Из проруби пошли пузыри, чуть не утонул, кретин. Со второй попытки проломил третью прорубь, за два метра до финишной. Мы загоготали еще сильнее, спирт уже бил в мозг, разливал радость по всему телу.

Вернулись в казарму, долго обсуждали приключение на озере. Многие советовали Генриху собрать вещички, топать на трамвайчик до Хауптбанхофа, сесть на поезд и – домой к мамочке в Лейпциг.*

Карл Мюллер особенно хорошо пошутил:

– А там, экскурсоводом в картинную галерею! Будешь рассказывать выжившим жидам о достоинствах полотен художников эпохи Возрождения!

Гоготали.

Но больше всего мне нравится стрелять. Люблю «Шмайсер». Модель МП-38. Когда короткими очередями кладешь фанерные мишени. Из парабеллума сначала не нравилось, потом по привычке. Гранаты когда бросаем – охватывает азарт! Огневая подготовка – четыре дня в неделю. Только в среду и субботу не ездим на полигон-стрельбище. Ну, и в воскресенье, день отдыха, естественно. В выходной мы гуляем по Берлину, кое-кто из нас любит заглядывать в бордели, если позволяют финансы. Платят пока не много, если честно. Но мы еще возьмем все богатства мира!

После 7 ноября, когда этот жидовский ублюдок застрелил нашего секретаря посольства в Париже, началось, наконец, настоящее дело. Немецкий народ был справедливо возмущен! Эти евреи давно нарывались! Терпение фюрера было колоссальным, но и оно – небеспредельное!

В ночь на 8 ноября получили приказ из рейхстага, я наблюдал, как примчался посыльный с бумагой.

Такие конверты, что поступали сверху, я еще видел во время Олимпиады 36-го. Штурм-фюрер вскрыл срочную почту, прочел несколько строк, и спустя десять минут наша рота стояла перед казармой в полной боевой выкладке.

И – понеслось!

С раннего утра громили жидовские лавки. Список был заготовлен заранее, еще месяца за три до нашей «Хрустальной ночи». Как они цеплялись за свои вещички! Жадности евреев поистине нет предела. Мой фатер всю жизнь горбатился на шахтах, но не нажил и десятой доли того, что я видел в этот прекрасный день. День, когда мы делали Историю! В одном месте старый пархатый жид буквально висел у меня на руках, отбирая увесистые батоны копченой колбасы. Мы выбрасывали их на улицу, там уже вовсю веселились голодные собаки. Когда жид оцарапал мне палец, вытащил парабеллум и врезал рукояткой по лысине. Отпал сразу. Потом меня осенило: в таких лавках мы вряд ли заработаем на шлюх Курфюрстен-дамм! И я сразу вспомнил соседа, ювелира Штейна!

Подчиненные потом меня благодарили – отлично поживились! Поменяли золотишко на рейхсмарки – теперь многим хватит погулять минимум до Нового года. У меня, правда, остался осадок. Из-за этой Сары Штейн и моего папашки. Нашел кого защищать, старый идиот! Сару, если честно, немного жаль было. Я признался себе в этом, истинный ариец должен быть чист перед собою. Ночью в казарме вспоминал её. Хотел, было по юношеской привычке поработать под одеялом кулачком, но вовремя остановил себя. Недостойны арийца такие мысли, как правильно заметил фюрер! Хорошо, что была как раз суббота, на следующий день ласкался с хорошенькой немкой в борделе возле станции Berlin Zoo. И всё же никак не могу отделаться от тайной мысли когда-нибудь узнать Сару как женщину. Как вспомню её груди... тогда... и гладкую кожу... Я был близок к цели! Мысленно я изнасиловал эту еврейку уже десятки раз. Как будто наяву вижу её запрокинутую голову, черные кудри, рассыпавшиеся по подушке, и чувствую сопротивляющуюся горячую плоть, бьющуюся подо мною, как рыба на крючке. Прочь, прочь эти мысли, не достойные арийца! Хорошо, что никто в роте не заметил моего состояния. Значит, я научился прекрасно владеть собой!

Папашу забрали в гестапо. Вместе с этим евреем, Исайей Штейном. Наш штурмфюрер сдал их дежурному, а там уж позаботятся о том, чтобы прочистить старым пердунам мозги. Они не понимают – их время уже прошло! А наше, новое, Великое – только наступает!

Пошли отличные новости. Еврейским детям запретили посещать государственные школы, а чуть позже молодых жидов и жидовок выгнали из университетов. Отлично, мой фюрер! Эти зубрилки занимали столько мест. Моего друга Карла Мюллера профессор жид специально провалил на экзамене по философии в Кельнский университет. А то бы сейчас учился там вместе с этой Сарой. Впрочем, её уже должны выгнать оттуда, эту гордячку. Тоже мне – знаток философии Канта! Все эти философии скоро будут навсегда похоронены на свалке истории. Вместе с их проповедниками!

28 ноября.

Новый замечательный приказ фюрера. И мужская работа для моего взвода. Идем уплотнять евреев. Большие десяти квадратных метров на человека – извольте освободить помещение! С кого начнем-с? Да с нашего дома, конечно! Я там знаю кровососов, что занимают огромные квартиры, а соседи немцы ютятся в узких комнатках. Будет много визга, соплей, слез. Жаловаться на жизнь они умеют как никакая другая нация. Сейчас построю взвод, поставлю задачи на сегодняшний день.

Некоторое сомнение в глазах отдельных мягкотелых рядовых. Вижу, как сморщился наш поэт. Вызывает он у меня подозрения, с каждым днем всё больше. Настроить на необ-

ходимую жестокость! Твердость, твердость и еще раз твердость! Только так! Иначе нам врагов не одолеть. Никакой жалости, никакой пощады! Когда они сосали кровь из нашего народа в конце двадцатых, им не было жалко немецких голодающих детей! Фюрер поднял всех на борьбу, и мы должны быть достойными его великих идей! Какое наслаждение видеть, как несколько десятков бравых солдат синхронно исполняют твои команды!

Раз! Нале-во! Шааа-гом марш!

И четкое, синхронное клацанье металлических набоек по бульжной мостовой. Прелестная музыка для настоящих мужчин! Раз-два! Раз-два! Раз-два! Лево! Лево! Взвоооо-од! Стой! Пришли. Грузовики подъехали, можно начинать.

Сука! Смотрит снова на меня в окно. Хочет разжалобить? Нет, я уже не тот Курт Вебер, что слюнявым юношей целовал ее губы. Никаких сантиментов! Командую, называю номера жидовских квартир. Топот сапог по лестнице подъезда. Первые жалобные крики.

Смотрит по-прежнему. Хочется вытащить парабеллум и выстрелить в знакомое окно. Она не понимает, что когда мужчины выполняют приказ, боевую задачу, они звереют.

Нет! Пока не хватает, видимо, мне железной выдержки истинного арийца! Услышал знакомый голос мамаша Штейнов. Похоже, кто-то из ребят решил завалить Сару на кроватку, а Дора вмешалась. Мгновенное чувство ревности, укол совести – той неосознанной субстанции, что наш фюрер как-то раз назвал химерой. Мы совестливы, а они? Никогда и ни при каких обстоятельствах! У евреев только одна совесть – личная выгода. И всё!!

Черт! Там, видимо, без трупов сегодня не обойдется. Карл Мюллер выскочил из дома как ошпаренный. Что с ним? Отошел за грузовик, как будто блюет. Убил? Подойду, спрошу.

Ах, вот оно в чем дело! Сара тащит мамашу, у той разбита голова, вся в крови. Меня не замечает. Какое-то странное чувство плещется внутри. Удовлетворение смешалось с жалостью? Или еще чем похуже? С просыпающейся химерой? К черту! Приказ фюрера, мы его обязаны выполнить! Пусть тащит свою мамашу хоть в госпиталь, хоть в синагогу или сразу в морг. Карл вышел из-за грузовика, физиономия скрюченная, как будто лимон съел. Поговорили, постепенно успокоился. Потом я случайно узнал, что Дора откинула копыта в госпитале. К черту жалость! Иначе мы не победим.

Мюллер не зря постарался. Штурмфюрер доложил куда следует, и через неделю родители Карла с его младшими сестрами переехали в наш дом. Такая хорошая квартира, как была у Штейнов – не должна пустовать. Немного сосет зависть – я бы сам с удовольствием занял эти комнаты. Для моей будущей семьи. Ладно, переживу...

А вот и Карл. Легок на помине. Лицо какое-то встревоженное. Что? Ушам своим не верю! Он говорит, что заметил, как та миниатюрная еврейка, что тащила свою мамашу, вошла в квартиру моих родителей? Мать открыла ей дверь и пустила? Она что – с ума сошла? Срочно проверить!

Курт Вебер спрыгнул со своей койки, быстро надел сапоги, мундир и спустя полчаса входил в родной подъезд. Постучал в дверь, три быстрых удара, пауза, еще удар костяшками о дерево. Как он привык со школьных лет. Пауза. За дверью – тишина. Курт вполголоса ругнулся и снова постучал. После ссоры с отцом ключи от квартиры он так и не взял.

Послышались тихие шаги. Мать. Лязг замка, дверь открылась, такое знакомое, но очень бледное лицо. Неужели Карл не ошибся?

– Гутен таг, мутти! Добрый день! – по привычке произнес Курт, шагая в прихожую.

– Здравствуй, сынок, – негромко произнесла Эмма.

– Ты одна? – спросил младший Вебер, и, не дожидаясь ответа, прошел в гостиную. Он знал, кого может там увидеть, но все же непроизвольно вздрогнул. Возле стола, опершись пра-

вой рукой на спинку стула, стояла Сара Штейн. Мозг мужчины мгновенно выдал автоматический импульс: «Она похорошела!»

Но вместо комплимента Курт, криво усмехнувшись, выдавил:

– О! Какие люди у нас в гостях! Мы их – из дома, а они снова сюда! Как правильно писал фюрер, назойливость – одна из характерный еврейских черт!

**Хауптбанхоф – центральный вокзал Берлина.*

Концлагерь Эбензее, март 1945

Дмитрий Пельцер и Лев Каневич лежали в ревире вместе. Учитель из Харькова был еще слаб после происшествия в штольне, он чувствовал, что внутри организма произошло нечто пугающее, неприятное, страшное. Несколько раз в день он тянулся к полотенцу и сплевывал изо рта сгустки крови. Каневич брезгливо косился на соседа, отворачивался в такие минуты к стене. С ними в маленькой палате №21 находились еще двое, с соседнего барака. Одессит Лёня Рубинштейн и бывший председатель колхоза из Латвии Валдис Круминыш. Латыш разговаривал по-русски с сильным акцентом.

В коридоре гремели тарой баландеры. Еда в ревире в сравнении с общим пищеблоком была урезана в два раза. Но здесь было одно главное преимущество – вместо изматывающей организм работы в штольнях можно было целый день лежать на кровати. Запах лекарств вперемежку с какой-то отвратительной вонью пронизывал всё пространство лагерного лазарета. Каневич несколько раз в день открывал форточку, свежий воздух на небольшое время растворял эту вонь, но через полчаса её концентрация восстанавливалась.

– Привыкнешь... – негромко произнес Рубинштейн, наблюдая за Каневичем. – Человек ко всему привыкает.

– Если человек хочет быть свиньей, тогда да! – раздраженно бросил Лев. – Я лично не желаю!

Лёня обиженно поджал губы.

– Ладно тебе, король... – послышался голос Пельцера. – Со своими уж не собачься. Все мы здесь для немцев свиньи.

– Король? – удивленно переспросил Круминыш, приподнявшись с подушки. – Почему король?

– По кочану! – отрезал Каневич.

– В авторитете он, – коротко пояснил Пельцер.

– За какие заслуги? – хмыкнул латыш. – Прибыл в Эбензее с монаршеского трона?

– Заткнись... – глухо проговорил Каневич. – Не твоего ума дело.

– Ты полегче! – насмешливо возразил Круминыш. – А то, когда я рассержусь, меня трудно остановить.

«Король» смерил латыша презрительным взглядом и ничего не ответил.

В коридоре послышались шаги. Потом тихий стук в дверь.

– Кто? – удивленно спросил Рубинштейн. Обычно в ревире врачи дверь открывали без предупреждения.

– Лёва, ты здесь? – раздался вкрадчивый голос.

– Да. Заходи, Клейман, – ответил Каневич и встал с кровати.

Дверь отворилась, в палату скользнула маленькая фигура в полосатой робе. Большая голова смешно диссонировала с узкими плечами, длинным туловищем и короткими ножками. В руках мужчина держал сверток.

– Хорошо получилось. Уговорил этого чеха-врача, чтобы пустил к тебе, Лёва... – торопливо затараторил гость, разворачивая пакет. – Вот, выменял на черном рынке у одной «айнвазерки». Колечко ей понравилось с камушком.

«Айнвазерками» заключенные называли немок, в большинстве проституток, что кроме обслуживания мужского состава СС, еще наблюдали за работами.

– Ну, чем порадуешь на этот раз, Соломон? – Каневич довольно усмехнулся. – Показывай!

Пельцер, Круминыш и Рубинштейн одновременно сглотнули слюну, когда увидели на тумбочке «Короля» половину буханки белого хлеба, увесистый шматок настоящего сала и два брикета хорошего табака.

Лев прищурился, разглядывая богатство.

– Что хочешь, Соломоша? – он повернулся к Клейману.

Тот молитвенно сложил руки на груди.

– Ради бога, похлопочи за меня перед врачом! На пару недель сюда бы мне, в ревир. Отлежаться... Силы на исходе, не могу я камни таскать, охранники уже косятся, того и гляди пристрелят как собаку!

– Хорошо, поговорю, – Каневич отломил от брикета табак, накрошил в бумагу и, поплюняв ее край, свернул самокрутку. – Но не обещаю, что получится. Зажди!

Соломон торопливо чиркнул спичкой, «Король» глубоко затянулся, выпустил дым, откинулся назад на подушку и умиротворенно закрыл глаза. Он чувствовал, как четыре пары глаз жадно следят за его движениями, смотрят на шикарную еду, ожидая, когда обладатель этого богатства поделится с ними. Но Лев не спешил этого делать.

– Как там в бараке? Что про нас говорят? – поинтересовался Каневич после пятой затяжки.

– Да ничего особенного. Пару шавок вякнули, что вы сачкуете, отлыниваете от работы в ревире, и всё.

– Кто именно? – Лев открыл глаза, внимательно посмотрел на Клеймана.

– Да этот... как его? Негуляйполе. И мой земляк Лёня Перельман.

– Вот как? Ну, хорошо. Иди, Соломоша. В следующий раз табачку побольше постарайся выменять. Есть на что? А я с чехом сейчас же поговорю насчет тебя.

– Найдем! – довольный одессит выскользнул из палаты.

Тотчас после его ухода в конце коридора раздался дикий вопль. Кричали в какой-то палате, истошно, обреченно, по-звериному. Каневич поморщился и тоном, не терпящим возражений, приказал Пельцеру:

– Прикрой дверь посильнее! Черт! Умереть достойно не могут!

Харьковчанин подчинился. Круминыш и Рубинштейн переглянулись. Если бы эти молчаливые взгляды заговорили, то палата наполнилась бы словами ненависти.

Врач ревира концлагеря Эбензее чех Ярослав Степански не возражал. Он, было, хотел заикнуться о том, что в последние два дня недавно назначенный главный врач Йохан Баумейстер приказал ему сделать больным с десятков смертельных инъекций, но передумал. Из канистры в шприц набирался бензин, и когда больной догадывался, что за «лекарство» он получил, было уже поздно. Аппетитный кусман сала на белом куске хлеба в условиях концлагеря часто перевешивали любые принципы, не говоря уже о клятве Гиппократата. У всех была одна цель – выжить. Лишь в первые три бензиновые инъекции у чеха дрожали руки, и он никак не мог попасть в главную артерию возле локтевого сустава. Потом приоровился.

Но была еще одна просьба, что смущала чеха. Каневич попросил принести в палату шахматы. За это обещал повторить свой царский подарок через пару дней. Врачей-заключенных в концлагере едой не баловали – у них была та же пайка, что и у работающих в штольнях. А в кабинете бывшего главного врача Ярослав как-то видел деревянную доску в черно-белую клетку. Постоянное чувство голода преследовало чеха, до войны он обожал много и вкусно поесть в пражских кафешках, выпить вдоволь пива. В конце дня Ярослав Степански поймал себя на мысли, что ноги его, помимо воли, несут тело поближе к заветному кабинету. Несколько раз он видел, как Йохан Баумейстер выходил оттуда, не запирая дверь. Наконец, чех не выдержал. Когда немец в очередной раз быстрым шагом пронесся мимо него по коридору и направился из помещения ревира в сторону блока, где жили эсэсовцы, Ярослав скользнул

в кабинет главврача. Есть! Там же лежат, сверху, на высоком деревянном шкафе. Чех вытянулся в струнку, достал доску, внутри громыхнули фигуры.

«Черт! Как бы кто не услышал... – Ярослав опасливо приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Пусто. – Быстро, быстро – в палату №21! И принять сегодня вечером этого... как его? Мей... Мей... Соломона, в общем. Но какого-то больного надо перевести в другую палату. В ту самую, где вчера освободилось место после бензиновой инъекции».

Ярослав поежился. Ему надо выбирать – кто умрет завтра! Не хочется об этом думать, но выбирать придется. «Боже, до чего я дожил... Когда-то мечтал о мировой славе врача-хирурга, о своей клинике, штате сотрудников. И вот... приходится убивать самому, выбирать смертников. Иначе самого отправят в крематорий. Судьба...»

– Принес? Отлично! – улыбка удовлетворения разлилась по лицу Каневича. – Как только Соломоша прибудет в ревир, получишь то, что я обещал! Подождешь?

– Конечно, – согласился Степански и вышел в коридор.

Вечером он жадно поедал сало с белым хлебом, не обращая внимания на шум, возникший в палате №21. Там никто не хотел уступать свою койку прибывшему Клейману.

– Янис, мы тебя просим. Сам понимаешь, ты один латыш, а мы все – евреи, – убеждал Круминьша Каневич. – В другой палате тебе будет комфортнее!

– Не хочу я куда-то уходить! – зло возражал латыш. – Почему ты все время здесь командуешь?

– Потому что так надо! – рассмеялся Лев. Потом помолчал и неожиданно предложил. – Давай тогда честно решим проблему.

– Как? – Круминьш приподнялся на кровати.

– Сыграем в шахматы. Ты со мной, например. Или с Соломошей. Кто выиграет – остается. Проигравшему – кусок сала с хлебом и почетные проводы в другую палату. Я с чехом врачом уже договорился. Идет?

Круминьш внимательно посмотрел на «Короля». Не шутит.

– Ну что ж, давай, – согласился латыш. – С тобой буду играть!

– Соломоша, расставляй фигуры! – с азартом воскликнул Каневич, сворачивая очередную самокрутку. – Сейчас состоится партия века. Сборная СССР в моем лице против сборной буржуазной Латвии! Тумбочку на середину, между кроватями, туда доску поставим!

Спустя минуту импровизированное поле боя было готово. Рубинштейн снял с доски белую и черную пешки, спрятал за спиной, потом вытянул кулаки вперед.

– Эта! – Каневич хлопнул ладонью по правой руке Лени. Открытая ладонь – черная пешка.

– С детства любил черненькими! Ну-с, неуступчивый ты наш, твой ход!

Партия началась. Круминьш в начале задумывался чаще, играл неторопливо, аккуратно ставил фигуры и пешки в самый центр клеток. После десятого хода Каневич занервничал. Он понял, что латыш в шахматах – не новичок. Белые фигуры направлялись если не профессионалом, то крепким любителем, уж точно.

– Давай, тугодум, ходи поскорее! – «Король» подгонял Круминьша. – Надоело ждать!

– Сейчас. Ваша пословица «Поспешишь – людей насмешишь» в этой игре верна, как нигде, – ухмыльнулся Валдис. – Шах вам, Король королевич!

Каневич побагровел.

Он понял, что теперь проигрывает. В голове лихорадочно замесились мысли в попытках найти достойный вариант для спасения ситуации.

«Вот так... Тебе ловушечка, угоди, угоди в нее, позарься на моего коня, давай!»

Но Круминыш уверенно прошел мимо ядовитого соблазна.

– Шах и мат через два хода! – спокойно произнес латыш, передвигая ладью.

Каневич с яростью сбросил фигуры на пол.

– Черт! Ты наверняка занимался шахматами! Наверное, в своей Риге бегал в клуб? Давай реванш!

– Нет, – усмехнулся Круминыш. – Уговор дороже денег. Прошу на выход!

И он показал рукой на дверь. Лев побледнел, встал со стула.

– Ты, недобитый лесной латышский брат, вали отсюда! Мы, евреи, хотим быть вместе!

Понял?

Он оглянулся на Клеймана, Рубинштейна и Пельцера, ища у них поддержки.

– Сам вали! – лицо латыша приобрело багровый оттенок. – Я таких командиров еще в сороковом посылал на три буквы!

– Что? Ты, быдло, не представляешь даже, с кем разговариваешь! Запомни, сволочь, как только нас освободит Красная Армия, в этот же день тебя поставят к стенке! Я тебе!

Лев замахнулся на Круминыша. Тот в ответ перехватил его руку и заломил за спину. Каневич взвыл, дернулся, пытаясь выбраться, однако противник держал крепко. В следующее мгновение латыш получил удар сзади. Соломон Клейман решил прийти на помощь своему покровителю. Круминыш покачнулся, задел бедром тумбочку, и она с грохотом упала на пол.

– Ах, вы... вы! – заскрипел зубами Валдис.

В это мгновение дверь палаты отворилась. На пороге стоял штурмфюрер Йохан Баумейстер. Белый халат поверх мундира, правая рука на расстегнутой кобуре. Сзади виднелось перепуганное лицо чеха Степански.

Заключенные вскочили с кроватей, замерли.

– О! Какая интересная здесь атмосфера! – улыбка на лице главного врача ревира не сулила ничего хорошего. – Мы играем в шахматы, украденные из моего кабинета. И даже подрались. Bravo! Bravo!

Кожаные перчатки эсэсовца с глухим хлюпаньем несколько раз сошлись между собою.

– Итак. Я буду краток. Кто украл комплект шахмат? – вкрадчиво начал Баумейстер. Потом рывкнул так, что Соломон Клейман испуганно вздрогнул. – Быстро сознались!! Кто?? Ты, жидовская морда??! Почему находишься в этой палате?

– Нет, нет, не я это! – испуганно залепетал «доставала». – Клянусь, господин штурмфюрер!

Главный врач обернулся к Степански.

– Позови сюда капо!

– Есть!

Чех застучал ботинками по деревянному полу коридора.

– А кто же принес в эту палату шахматы? Отвечать!! Иначе сейчас всех отправлю в штрафной блок! Быстро!!

Соломон опустил голову, потом искоса взглянул в сторону Круминыша.

– Он??! – палец эсэсовца указал на латыша. – Отвечать!!

Клейман молчал. Каневич безучастно смотрел в окно. Рубинштейн и Пельцер уткнулись взглядами в пол.

Кожаная перчатка, сжатая в кулак, врезалась в лицо Клеймана. Тот дернул головой и воткнулся спиной в стену. Кровь ручьем хлынула из разбитого носа. Баумейстер с побагровевшим лицом подскочил к Соломону, с силой ударил его носком сапога между ног. Заклученный громко закричал от боли, упал на бок, задергался в конвульсиях.

– Шайзе! Говори – кто!! Или я сейчас сделаю дырку в твоей лысине! Ну!!? Кто? Этот латыш? – холодная сталь «Вальтера» коснулась седин еврея. Тот жалобно просипел:

– Да...

Лицо штурмфюрера изменилось. Змеиная улыбка заиграла на тонких губах главного врача ревира. Он выпрямился, поднял «Вальтер» и большим пальцем правой руки взвел курок. В следующую секунду произошло то, чего никто не ожидал. По всем законам концлагеря Эбензее сейчас должен был прозвучать одиночный выстрел – очередного узника с простреленной головой потащат в крематорий. Латыш внезапно метнул свое исхудавшее тело в сторону, одновременно наклонился вниз, правой ногой сильно ударил эсэсовца под коленку. Тот согнулся, как складной ножик и рухнул на пол. Штурмфюрер успел выстрелить, но пуля прошла мимо цели, от стены срикошетила Рубинштейну в руку. Следующим ударом ноги Круминыш выбил пистолет из правой кисти эсэсовца. «Вальтер» взлетел в воздух и приземлился на кровать Пельцера, рядом с его коленками. Бледный харьковчанин в ужасе отшатнулся, словно на кровать приползла кобра. Латыш ударил немца ногой и бросился к оружию.

– Дай!! – хрипло выкрикнул он. – Хотя бы одну сволочь застрелю перед смертью!!

– Ты идиот!! – вдруг заорал Каневич. – Нас всех из-за тебя повесят!!

И он преградил путь Круминышу. Тот не дотягивался до оружия считанные сантиметры, руки «Короля», дрожа от напряжения, держали запястья латыша.

– Дай мне пистолет, Дима!! – закричал Валдис. Но харьковчанин только испуганно мотал головой; дрожа всем телом, он медленно отодвигался к спинке своей кровати.

Раздалась автоматная очередь.

Из спины Круминыша фонтаном взлетели алые капли. Четыре пули прошли тело от левой лопатки до правой ягодицы. Латыш медленно сползал на пол, в эти секунды Дима Пельцер, много раз видевший смерть, был потрясен тем выражением, что плескалось в глазах Валдиса. Оно было похоже на обиду маленького ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Когда колени Круминыша коснулись пола, он обернулся. В дверях стояли капо ревира, чех Степански и солдат из охраны. У последнего в руках – дымящееся дуло «Шмайсера». Фигуры людей стали искажаться, превращаться в смазанные силуэты, уходить куда-то в темноту; невыносимая боль наваливалась на сердце, внутри бешено kloкотал поток из разорванной пулей аорты, тысячи белых точек закрыли привычный мир, и душа человека рванулась на долгожданную волю, выстраданную, желанную, непостижимую для всех, кто в эту минуту находился в палате №21 и остался в живых.

В этот же вечер чех Степански сделал бензиновые инъекции Соломону Клейману и Лёне Рубинштейну. Каневича с Пельцером пощадили, как оказавших помощь штурмфюреру Баумейстеру в столь критический момент.

Сара Штейн

– О! Какие люди у нас в гостях! Мы их – из дома, а они снова сюда! Как правильно писал фюрер, назойливость – одна из характерных еврейских черт!

Губы Курта Вебера кривились в ироничной улыбке. Я смотрела на него и не могла понять – почему в людях происходят такие чудовищные перемены? Ведь когда-то эти губы страстно целовали меня. Глаза, что сейчас похожи на шипы колючих кактусов, раньше излучали тепло. Куда всё пропало? И самое главное – почему? Чем я провинилась перед этим человеком? Украла его надежды?

Нет.

Обманула? Изменила с другим?

Ни в коем случае.

Он, наверное, догадывается, что я еще девушка.

Оскорбила его родителей? Никогда.

С Эммой и Герхардом у меня всегда были отличные отношения. Было бы лучше, если я тогда уступила домогательствам Курта? Стала бы его женщиной? Не было бы сейчас этой злости в его глазах? Мужчины самолюбивы и долго помнят обиды на сексуальной почве. За это? Не думаю... Впрочем, что-то в этом есть. Неужели основная причина – мое происхождение? Кровь еврейки. Выходит, с той секунды, когда я издала свой первый крик, я уже – виновна? Бред. С моей точки зрения – безумие. А с их? С колокольни этой обезумевшей толпы, экзальтированной речами своего фюрера? Я могу даже согласиться, что среди нас, евреев, есть и отъявленные негодяи. Что готовы удавиться за лишний пфенниг. Что выстраивают самые невероятные схемы обогащения за счет других людей. Но я? У меня сейчас ничего нет. Родители? Мой отец виновен, что когда-то его дед открыл ювелирный магазин? С десятков лет копил на дело, часто отказывая себе во вкусной еде, путешествиях, отдыхе. Они виновны? Не пошли работать в шахту, как отец Вебера? Простите, но каждый человек выбирает свою дорогу. Значит, тропа, по которой шагают многие евреи, может привести их к суду линча? Как было в ту ночь на 8 ноября. Или в концлагеря, что уже открылись на юге Германии. Уехать! Исчезнуть из этой страны! Бежать от ужаса и подальше! Но это потом. А сейчас пора уже ответить сыну Эммы. Ждет с плохо скрываемым любопытством, что я сейчас скажу?

– Здравствуй, Курт. Не беспокойся, я скоро отсюда уйду. А ты изменился. Как поживаешь?

Сара Штейн улыбнулась и чуть встряхнула черными волнистыми прядями. Она скрестила руки на груди, почувствовав, что взгляд молодого Вебера уперся в точку, которую классики литературы называют «ложбинкой», откуда начинают расти два волнующих мужчин холмика. В глазах девушки мелькали искорки иронии, той самой, что так бесила Курта со школьных лет. Когда он, преодолев мальчишескую гордость, украдкой списывал решения заданий по геометрии и алгебре из тетради Сары, а та делала вид, что не замечает; и только в момент сдачи учителю работ Курта бросала на него именно этот взгляд. Мальчишка краснел, злился, а она веселилась от этого всё больше и больше.

– Отлично поживаю! И немцы еще будут лучше поживать, когда выметут весь мусор со своей земли! – отчеканил штурмовик.

– Ты записался в дворники, Курт? – удивленно приподняла брови Сара. Щеки её чуть побледнели.

Эмма, хорошо зная своего сына, предусмотрительно шагнула вперед и встала между молодыми людьми.

– Курт, ты не вежлив к нашей гостье... – мать подняла голову, внимательно посмотрела сыну в глаза. – Раздевайся, я приготовила обед.

– Ты думаешь, что я сяду за один стол с этой... – Вебер кивнул в сторону Сары. Слово «жидовка» почему-то застряло у него в горле: в глазах девушки он увидел незнакомые оттенки; как будто та одновременно с ним вспомнила ужасную сцену в квартире Штейнов, окровавленное лицо матери и превратилась в дикую кошку, способную отомстить.

– А почему нет, сынок? – спросила Эмма. – Раньше ты охотно приглашал её за стол. Что изменилось?

– Многое! – зло буркнул старший ефрейтор.

– Единственное, что я вижу – изменился ты. И очень сильно. К сожалению – не в лучшую сторону... – горестно заметила мать.

– К черту! Меня ваши сантименты, мутти, не трогают. Раньше мы снисходительно относились к евреям, за что много раз поплатились. Слишком легко они пили из нас кровь, наживались на бедах фатерланда после войны. А теперь пришел этому конец! И они ответят за всё! Вы, наверное, не знаете, что сегодня по приказу фюрера все евреи лишены водительских прав, а врачам запрещено заниматься практикой! Гениальное решение фюрера! – выкрикнул Курт.

– Где наш отец? Ты так и не узнал? – по лицу Эммы словно пробежала судорога.

– Там, где ему положено! В гестапо!

– И ты ничего не сделал, чтобы его освободили?

– Вот еще! Чтобы я сразу загубил свою будущую карьеру? Ха ха, ради этого старого остолопа, который за всю жизнь не сделал ни одного мужского поступка? Копался, словно крот под землей, приносил домой гроши, в то время как эти (кивок в сторону девушки) купались в роскоши, золоте, ничего не делали, зато вкусно жрали и сладко спали! Хватит!

Штурмовик с силой ударил кулаком по столу. Ваза с цветами подпрыгнула, и, звякнув, упала на бок, покатила к краю стола.

Сара стремительно бросилась вперед и удержала стеклянный сосуд от падения. В эту секунду её левое запястье заныло от боли, Курт сжал своей пятерней тонкую руку еврейки:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.